

# ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

ТОГДА  
ПРИДИТЕ, И  
РАССУДИМ

Капитан Ульдемир

Владимир Михайлов

**Тогда придите, и рассудим**

«Автор»

1983

**Михайлов В. Д.**

Тогда придите, и рассудим / В. Д. Михайлов — «Автор»,  
1983 — (Капитан Ульдемир)

Читатели встретятся с уже знакомым по роману «Сторож брату моему» героем – капитаном Ульдемиром. Как и в первой книге, здесь капитан тоже получает очень ответственное задание: от его находчивости, смелости завсят судьбы двух дальних чужих миров. Автор призывает читателей задуматься над связью каждого человека с судьбой всего человечества, над ответственностью перед родной планетой. Ульдемир, влившись в образ ученого Форамы Ро, вместе с эмиссаром Мастера в образе художницы Мин Алики, спасают две враждующие планеты от взаимного уничтожения. Они объясняют суперстратегическим ЭВМ обеих планет (Малыш и Страта), что такое чувства, любовь, радость...

© Михайлов В. Д., 1983

© Автор, 1983

## Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	26
Глава четвертая	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Владимир Михайлов

## Тогда придите, и рассудим

### Глава первая

...потом створки съехали со звуком, с каким прозрачная волна набегают на белый раскаленный песок пляжа, когда солнце поет и нет сил шевельнуться, даже открыть глаза, когда сам ты стал и солнцем, и песком, и морем, и Вселенной, истекающей бездумным счастьем бытия. Холодный служебный свет, отсеченный дверью, остался в коридоре, куда только что вышла женщина, держа в руке что-то мерцающее и невесомое, как лучи звезд, – то, в чем она сколько-то времени назад вошла сюда, ко мне, неожиданная, словно принесенная на руках моего желания и тоски. Тоски по ней? Не знаю; сейчас я могу уверенно сказать – да! Но еще за мгновение до того мне представлялось другое лицо и другие линии; теперь они не то чтобы исчезли, но как-то совместились с новыми, растворились в них, а имя, столько раз произносившееся мною в моем двойном одиночестве, временно-пространственном, – имя это оказалось и в том, и в другом измерении так же далеко, как и сама планета звезды Даль.

Женщина ушла, но осталась здесь, и перед моими закрытыми глазами все еще стоял ее силуэт в прямоугольнике раздвинутых створок, а телом еще ощущалось ее тепло, а обонянием – запах, светлый запах весеннего рассвета, а слухом – невесомое ее дыхание и какие-то слова, те, что не оседают в словарях, но, словно молнии, рождаются и гаснут, блеснув единожды и ослепительно, слова, не выражающие мыслей, – мысль есть лишь отражение жизни, – но сами бывшие жизнью, естественные, как шелест лесов и плеск воды; а зрением все еще воспринимался тяжелый блеск в ее глазах, казавшийся отсветом древних костров, у которых сидели трое: Она, Он и Любовь. Хотя на самом деле то был, наверное, отблеск шкал репитеров на переборке моей каюты, но в те мгновения я не стал бы глядеть на них, даже покажи они конец света... Она ушла, но все мои чувства крепко держали ее, все до единого, потому что любое из них непременно для счастья. И память тела, и другая память тоже, со странной точностью вновь повторявшая кадр за кадром: как раскатились неожиданно створки, хотя я был здесь, а створки отзывались только на мой шифр; как вошла Она. Именно так воспринял я ее в тот миг: Она – хотя мне были прекрасно известны ее имя и должность и место по любому из корабельных расписаний, точно так же, как мне известно (и должно быть известно) все о каждом, кто только есть на борту. Не могу сказать, что я встал навстречу ей; меня подняло и толкнуло, и опустило на колени, и заставило поцеловать край того, мерцающего, что было надето на ней. Не было удивления: удивляются мелочам, перед стихией преклоняются безмолвно; и не было ни одного разумного слова, как не бывает их в оркестре, когда исполняется великая музыка... Память показывала и дальше; можно, вероятно, найти слова, какими все это опишется точно – но неверно. Человек может выражать одними и теми же словами проклятие и молитву – здесь была молитва.

Минуло время, и она ушла, вот только что, все так же безмолвно, но между нами не осталось неясного. Я лежал опустошенный, но не пустой, потому что из меня словно выскребли все низкое, унылое и дрянное, что только во мне было, и вместо этого наполнили меня чем-то, с чем можно жить тысячи лет, не унывая. И мне стало казаться вдруг, что все на свете просто (и наша экспедиция в том числе), что мы благополучно долетим, Архимеды наши и Михайлы Васильевичи, и прочие быстрые разумом Невтоны совершат все, что им полагается, выяснят при помощи своей белой, черной и пестрой в крапинку магии то, что следует, а затем чему положено гореть – зажжется, а чему потухнуть – погаснет, и мы отчалим в обратный путь, таща за собой длинный хвост впечатлений. А когда вернемся на Землю, планета перестанет казаться

мне чужой, потому что там, где двое вместе, возникает и все прочее, что нужно в жизни. А на финише...

Я дремал, наверное, или грезил; зуммер вызова проник в сознание не сразу. В другое время я мысленно (и даже не только) проклял бы – кто там сейчас стоит вахту? Да, Уве-Йорген, доблестный рыцарь истребительной авиации; значит, я проклял бы Уве-Йоргена и всю его вахту, и весь личный состав, включая ученых и астрооператоров, и весь рейс, и всю Землю, а также и доступную и недоступную нам вселенную, все, что есть, и все, чего нет: не люблю, когда меня будят. Но на этот раз я был полон доброты, и мне захотелось излить ее на кого-нибудь еще, пусть и на Рыцаря. Так что, дотянувшись до кнопки, я произнес по возможности миролюбиво:

– Капитан Ульдемир.

– Капитан, – голос Уве-Йоргена прозвучал отвлеченно-бесстрастно, как и всегда на службе. – С приятным пробуждением, капитан. Доброе утро.

– Что у вас там?

Досада, вероятно, все же оставила след в моем голосе, судя по чуть удивленному:

– Вы приказали поднять вас, капитан, когда приблизимся к точке выхода.

Как, уже? А я рассчитывал, что вся ночь впереди. Кануло куда-то время... И тотчас же другая мысль: бедная, каково ей сейчас, не выспавшись – за пульт...

– У меня все, капитан, – молвил Уве-Йорген, устав, как видно, дожидаться ответа.

– Сейчас буду. Работайте по расписанию. Все.

И я собрался было пожаловаться самому себе, что вот опять приходится подниматься ни свет ни заря, в моем-то серьезном возрасте, – но тут же вспомнил, что отныне, с этой ночи, я молод, моложе молодых. И вскочил быстро, словно каждая пружинка во мне была снова заведена до отказа.

Где-то, где-то (впрочем, расстояния – фикция в этом мире, и нет ничего, что было бы слишком далеко от нас) серебряные птицы вспорхнули и летучие рыбы ринулись в полет, стройные, на антигравтяге, с головками автоматического наведения на свет, на тепло, звук и запах – на всякое дыхание жизни. Там, куда они устремлялись, мгновенно грянули беззвучные вихри в тесных недрах стратегических машин, двойные и тройные параллельные цепи не подвели, все было вмиг подсчитано, взвешено и решено – и серебряные рыбы поднялись навстречу, и взвились клекочущие птицы, антигравы автоматического наведения. Мгновенным был диалог не ошибающихся неживых умов; и птицы клевали рыб, а рыбы в клочья разрывали птиц с той и с другой стороны, и одна часть сгорела и рассыпалась и упала, а другая часть прорвалась в ту и иную стороны. И у птиц раскрылись люки, а боеголовки летучих рыб разделились, как разлетается в стороны осиный рой. Эти сделали свое дело сразу, но и те, что упали, не долетев, тоже совершили свое, только секундами позже. Потому что антиярд бомбы ли, головки ли может лишь считанные секунды существовать в отключении от мощных стационарных энергетических установок, питающих магнитное поле, свернутое коконом и предохраняющее несколько килограммов антиметалла – в два хороших кулака величиной – от соприкосновения с корпусом бомбы или головки, сделанным из обычного сплава. Ровно столько времени, сколько нужно, чтобы долететь до цели, магнитный кокон продолжает жить, питаясь от аккумулятора, а затем – аннигиляция, взрыв. Каждый такой заряд стоил, сколько стоит построить город, и энергии потреблял, сколько ее потребляет город с его заводами, подземками, рекламами, утюгами и ночниками. Безопасность требует жертв – но, видно, уже не под силу стало истекать соками, питая безопасность, и – где-то, где-то! – люди – а скорее даже созданные ими особо доверенные машины – решили, что риск – дешевле, иначе – тупик, потому что можно зарядить АВ-бомбу, а разрядить уже нельзя, ее можно лишь взорвать, но вывести заряды в космос и взорвать на безопасном расстоянии от планеты тоже нельзя, ибо

путь каждого заряда строго рассчитан, и расстояние, какое он может пройти, слишком мало, чтобы взрывы не отразились на всем, что существует на планете. Не додумались разоружиться, пока речь еще шла об идиллических термоядерных зарядах, которые разрядить было – раз плюнуть, а теперь это стало все равно, что выстрелить самому себе в висок – так лучше уж в противника! И белые пламена вспыхнули, как если бы множество Вселенных вновь рождалось из темного, вневременного и внепостижимого протовещества. Нет, они вспыхнули ярче, чем множество Вселенных. Ничто не могло уцелеть, и не уцелело. Так это было на планете Шакум, обращавшейся вокруг солнца, что воспринимается на Земле лишь как слабенькая радиозвездочка в созвездии Паруса.

Но нет ничего в этом мире, что было бы далеко от нас.

И вот разговор, что произошел одновременно – при всей относительности этого понятия, – совсем в другом пространстве, но не весьма далеко от гибнувшей планеты, откуда она была видна как бы вся сразу, как плоский лист, а видно было также и многое другое.

– Фермер! – сказал Мастер, невесело, как всегда, усмехаясь. – Вот и опять. Неужели все зря и мы с тобой бессильны?

Фермер чуть повернул лик, сосредоточенный и грустный, на котором плясали белые блики.

– Мы снова что-то упустили.

Мастер встал рядом с Фермером и стал смотреть туда же, и на его лице тоже заиграли белые блики, словно от рождавшихся миров – но этот мир не рождался, он гибнул на глазах. Они молчали, пока не угасла последняя запоздалая вспышка, которой могло и не быть, ибо все свершилось уже: уничтожение было гарантировано надежно. Лишь тогда Мастер заговорил вновь:

– Мне все же не верилось. Хотя в глубине души я, наверное, ждал этого. Я не смог помешать.

– Ты не посылал туда эмиссаров?

– Четырежды, в разное время. Все четверо либо жестоко убиты, либо умерли в заточении. Я здесь сжимал кулаки, но ничего не мог поделать. Очень жаль, что, посылая эмиссара, мы не вправе помочь ему ничем, кроме советов. Но иначе его раскрыли бы там сразу. А никто не любит вмешательства со стороны. Перемены должны приходить изнутри – или как бы изнутри...

– Может быть, не надо было посылать их поодиночке? Те же четверо, если бы послать их разом...

– Как будто я не знаю этого, Фермер! Но где мне взять столько эмиссаров? А с группой еще сложнее: она не может быть случайной кучкой малознакомых людей. Наши требования высоки.

– Для такой нужды я мог бы отпустить даже кого-нибудь с моей Фермы.

– Разве у них мало работы? Или вокруг недостаточно миров, требующих наших усилий? Где-то наших людей всегда недостает. И в результате – вот...

– Может быть, этот мир и не стоил таких сокрушений. Слишком глубоко распространилась там зараза. А у меня есть правило: больное дерево должно сгореть, – сурово отозвался Фермер, но в голове его слышалась усталость, какая возникает не от трудов, но от неудач. – Сорную траву выжигают, и больной сук тоже отсекают и предают пламени. Так. Но мне жаль. И того, что случилось, и того, что еще может произойти где-нибудь в другом месте. Еще не весь сорный лес выгорел. Ходят слухи о твоей доброте, Фермер, – с той же едва заметной усмешкой проговорил Мастер.



– Доброта и добро – не всегда одно и то же, – возразил Фермер. – Но мне жаль, повторяю. Ведь там проросло и доброе, однако не успело. Слишком много было тени, а росткам добра нужен свет. И Тепло.

Снова они помолчали.

– Какая вспышка Холода! – нарушил тишину Мастер. – Будут серьезные последствия: изменения начались сразу же. Перезаконие.

– Фундаментальное?

– Вглядишься, и ты увидишь.

Фермер вгляделся в то, что было перед ними.

– Волна не кажется мне очень мощной. И скорость распространения умеренная.

– Но это незатухающая волна. Не локальная вспышка Перезакония: идет перестройка структуры пространства. Чтобы погасить волну, нужна мощная вспышка Тепла.

– Жаль, что его нельзя доставить извне. А здесь у тебя нет нужных источников?

– Одиночных сколько угодно, – сказал Мастер, – но они не помогут: слишком силен Холод. Нужен, самое малое, планетарный источник. Лучше, если их будет два. А если один, то превышающий мощностью источник Холода. Источник, который высвободит Тепло разом, подобно взрыву – так же, как это произошло только что с холодом. Но ведь тут погибла целая планета, что же сможем противопоставить мы? Чтобы целая планета воскресла, разве что. Кроме того, нужный нам источник должен находиться недалеко, в том же пространстве, и ввести его в действие следует быстро. Планеты твоей Фермы излучают Тепло непрерывным потоком, но не дают мгновенных мощных импульсов. Однако, если мы не остановим волну, Перезаконие распространится слишком широко, и тем тяжелее окажутся последствия.

– Если бы они знали, – сумрачно проговорил Фермер, – что, убивая друг друга, они не просто преступают свою же мораль, но и влияют на развитие Вселенной... Но на этой стадии они еще не мыслят категориями Вселенной – чересчур много мелочей отвлекают их. И подсказать им трудно, а значит – надо найти возможность повлиять на их чувства помимо рассудка.

– На несчастной планете каждый успел понять, что всему конец. И ужас оказался безмерным и породил столь мощный всплеск Холода.

– Что могут понять люди на другой планете, – вслух задумался Фермер, – так же внезапно и одновременно, чтобы сразу возникло преобладающее количество Тепла? Ты можешь представить?

– Обожди, Фермер. Постой. По-моему, в качестве источника можно использовать Семнадцатую.

– Там холодно, Мастер.

– Именно потому. Если источник Холода, что сковывает каждого жителя планеты, независимо от того, ощущает человек эту скованность или нет, – если этот источник внезапно и явно для всех исчезнет, вспышка Счастья будет чрезвычайно мощной.

– Ты думаешь, этот источник можно так просто устранить? Мне кажется, плод еще зелен.

– Я тоже так думал, Фермер. Но теперь, когда возникло Перезаконие, обстановка меняется. Природа словно хочет помочь нам. Смотри. Вот они. Вот волна. Ее структура, как видишь, достаточно сложна. Волна многослойна. Она будет наплывать на планеты постепенно. Волна регрессивна. Перезаконие ведет к упрощению вещества. И первыми начнут исчезать атомы наиболее сложных элементов. Исчезать не потихоньку, как ты понимаешь. И люди успеют заметить это. Встревожиться. Начнут искать выход. И тут-то и понадобится некто, кто не только укажет, где лежит этот выход, но и подскажет, как им воспользоваться. Процесс поисков выхода может начаться на одной планете, но должен перебраться и на другую, охватить обе населенные планеты, связанные давней враждой.

– Связанные враждой... Твоя извечная любовь к парадоксам, знаю. И для осуществления плана тебе нужен эмиссар.



– Лучше два. А если бы группа – это было бы чудесно.

– Сами они не смогут повернуть события?

– Те люди? Нет. Те, кто мог, давно вымерли или обессилели, потеряв надежду. Ожидать, что там возникнут новые? Но их образ жизни не способствует этому. Там все как будто бы благополучно. И внешне выглядит, словно все довольны. Когда возникает угроза, неожиданная, страшная, всеобщая, – может родиться лишь паника. Тут-то и нужен эмиссар. Пусть это будет даже слепой эмиссар: сейчас нам рука нужнее мозга. Человек или группа людей, которые окажутся в полном моем распоряжении. Люди, обреченные на... Ну неужели в окрестной Вселенной именно сейчас не возникнет ни одной нужной мне ситуации?

После этих слов Мастера наступили безмолвие и неподвижность, исполненные, однако, неощутимых процессов.

– Вглядишься, Фермер, – сказал после паузы Мастер. – Я сейчас стягиваю на себя вероятные ситуации. Взгляни в четвертое пространство.

– Только что там ничего не было.

– Нет, они уже были там. Чей-то кораблик, утлый, примитивный челнок, на котором кто-то отважился пуститься в океан, еще не изведав ужаса бурь. Видишь – они поднимаются из глубины. Хотят выйти в третье пространство.

– Вижу. Там люди. Кто-нибудь из твоих?

– Разве мои станут пользоваться такими кораблями?

– Значит, просто люди из цивилизации ниже среднего уровня. И ты думаешь, они смогут сразу тебе пригодиться? Я не знал за тобой торопливости, Мастер. Сколько времени ты обычно готовишь эмиссара?

– Сейчас крайняя ситуация. В любом случае придется слать неподготовленного. И для этого, я думаю, ничего лучшего нам не найти. Потому что люди, пускающиеся в такой скорлупе из пространства в пространство, должны чего-то стоить! Ну хоть один, хоть двое из них...

– Пусть так. Но уверен ли ты, что они окажутся в твоём распоряжении?

– Стоит им возникнуть в третьем пространстве, как Перезаконие захлестнет их. Вспышка – и все. Не может быть, чтобы на их корабле не использовались сверхтяжелые металлы.

Фермер покачал головой.

– Спасать одну дичающую цивилизацию при помощи другой, еще полудикой... Воистину, ты мастер – мастер парадоксов.

– Полудикая цивилизация – так ли это плохо? Эти люди не стесняются в чувствах. Посмотри, посмотри на них, Фермер: каков заряд тепла!

– Обычное следствие облегчения: оказавшись вновь в своем естественном пространстве, люди радуются.

– Нет, Фермер, на сей раз ты не прав. Тепла куда больше, да и оттенок его иной. Позволь мне вслушаться... – Он не разрешение спрашивал, они были равноправны и независимы друг от друга: Фермер этой группы цивилизаций одного уровня и Мастер – эмиссар цивилизации высшей, наблюдатель и соратник. И вовсе они не враждовали, как думают порой те, кто что-то слышал о них, – просто мир они видят каждый по-своему, и это закономерно и естественно. Мастеру не нужно было разрешение, но такова была форма вежливости. Он вслушался в то, чего не услышал бы ни один человек, стой он рядом. Фермер последовал его примеру, и вскоре оба они переглянулись радостно и тревожно:

– Там твой человек, Мастер! Откуда? Ты ведь говорил...

– Да, мой. Прекрасно! Это удача. Великолепный человек, я послал его временным наблюдателем по группе маленьких островных цивилизаций низшего и ниже среднего уровня. И вот он возвращается. Постой...

– Теперь совсем хорошо видно, – сказал Фермер.

– Знаешь, я, пожалуй, ошибся: им сейчас не грозит ничто. Но это не так уж важно: своего человека я смогу использовать в любом случае. Попрошу, и мне не откажут.

– Им больше не грозит взрыв?

– Посмотри, каким облаком Тепла окружены они! Тепло нейтрализует действие холодной волны вокруг их корабля. И они спокойно пролетят. Пусть летят с миром. Я сейчас вызову моего эмиссара, дальше им придется обойтись без него.

Мастер сосредоточился. Потом улыбка его погасла.

– Ты обеспокоен? – спросил Фермер.

– Оказывается, это не так просто. Там два источника Тепла. Два человека. И один из них – мой эмиссар. Забрать его сейчас – значит, погасить Тепло и обречь их...

– Понимаю, Мастер. Но зато, если послать их вдвоем...

– Ты прав, Фермер, ты прав...

– Трогательно, – сказал Фермер, улыбаясь. – И прекрасно. Порадуемся за них, Мастер, и за весь мир, как полагается в таких случаях. Это хороший обычай. Но почему ты загрустил?

– Это – иное, Фермер. Только мое. Разве мы с тобой – не люди и не имеем права...

– Не надо более, Мастер, – я понял. Что делать? Но может быть, в таком случае не надо посылать...

– Разве ты, Фермер, не посылаешь в опасность тех, кого любишь? Но довольно об этом. Что же мне делать с ними? Пока они оба там, корабль неуязвим и я не могу распоряжаться этими людьми. Стоит мне отозвать эмиссара, как они взорвутся. Тогда со всеми остальными будет много возни...

– Я помогу тебе, Мастер. Как-нибудь справимся.

– Благодарю тебя. Будем наготове. Это произойдет сейчас.

Выход прошел нормально. Капитан Ульдемир, откинувшись на спинку кресла и смахнув ладонью пот со лба (все же никак нельзя было приучить себя не волноваться в узловые моменты рейса, как капитан ни старался), проговорил в микрофон обычные слова благодарности экипажу – за то, что каждый на своем месте выполнил свой долг. Слова были обычными, а вот интонация – не очень: чувство переполняло Ульдемира, и часть его невольно перелилась в речь, так что каждый на корабле почувствовал это – а капитану хотелось лишь, чтобы его чувство ощутила Астролида (странные имена давали людям в новую эпоху; Ульдемиру они казались чересчур красивыми, но сейчас ничто не было бы для него чересчур красивым), – почувствовала и поняла, как он благодарен ей и полон ею, и только что даже не свой долг выполнял за пультом, но служил ей, и поэтому все прошло так хорошо, без обычных и почти неизбежных маленьких заминок, несовпадений, случающихся у машины, а у людей и подавно.

В соседнем кресле Уве-Йорген ухмыльнулся. Он явно припрятал камешек за пазухой.

– Короткую память раньше называли девичьей, капитан, – сказал он, не отворачивая горбоносого лица. – Не следует ли нам отныне именовать ее капитанской?

Ульдемир с минуту раздумывал. Но обижаться не хотелось. Со стороны все кажется другим. Короткая память? Ерунда. Если человек годами остается одиноким, то вовсе не потому, что у него хорошая память и он не в силах забыть кого-то. «Тут не память, милый мой Рыцарь, – подумал он. – Тут судьба. А на судьбу, как и на начальство, не жалуются, даже когда есть повод. Я же могу только благодарить ее».

– Уве, – сказал он. – Насчет памяти мы подискутируем в свое время и в своем месте, хотя мысль твоя несомненно глубока и интересна. А сейчас – не пригласишь ли всех в салон?

– Вышли мы так гладко, что, право же, стоит отметить, – охотно согласился Уве-Йорген: солдаты падки на зрелища и угощения. – И глоток чего-нибудь нам не помешает.

– Приходи и ты, – сказал Ульдемир. – Пространство такое спокойное – хоть автоматы выключай.

Уве-Йорген шевельнул уголками губ, свидетельствуя, что шутку об автоматах понял именно как шутку.

– Есть присутствовать в салоне.

– Иди. Я чуть позже.

Ульдемир остался один. Зачем? Сейчас он ее увидит. Увидит впервые – так. Раньше, как члена экипажа, женщину с нынешней Земли, и поэтому отдаленную и непонятную, он видел ее много раз. Каждый день полета. Сейчас все стало иначе. И ему было немного страшно, потому что он знал – и не знал, как взглянет она на него, как отнесется ко всему, что случилось; может быть, для нее ничего особенного и не произошло и, возможно, стало даже хуже, чем было раньше; кто может понять женщину до конца, кроме другой женщины? Волнение охватило капитана, и захотелось немного побыть одному, чтобы собраться с духом.

Как это у нее получилось? Просто вошла. Перед тем не было ничего: ни слова, ни движения, ни взгляда. Ни вчера и никогда раньше. Да и сам он старался не очень смотреть на нее: капитан выше всех, в сложном уравнении экипажа он вынесен за скобки, и слабости – не его привилегия. И все же вчера вечером, готовясь ко сну в своей каюте, он вдруг четко понял, что ждет ее, как если бы просил о свидании и получил согласие. И не успел он еще удивиться неожиданной определенности и уверенности своего желания, как створки двери разъехались – и вошла она...

На этом он оборвал воспоминания. Перед тем, как выйти из ходовой рубки, еще раз оглядел экраны, приборы. Все было в наилучшем порядке. Шесть главных реакторов ровно дышали. В космосе стоял магнитный, гравитационный, радиационный штиль. Прекрасно. И от этого благополучия то, что сейчас предстояло, показалось ему еще прекраснее.

Он вошел в салон, где уже собрались все. И с необычной для себя сентиментальностью капитан подумал вдруг, как дороги ему эти люди, все вместе и каждый в отдельности. И те, с кем он уже летал в первую экспедицию, к звезде Даль, и четверо ученых – все люди новые, но очень славные, – и Астролида, новый член экипажа, заменивший во второй экспедиции Иеромонаха, чьим останкам суждено было покоиться в тучной почве планеты Даль-2.

Кстати, перед отлетом оттуда экипаж решил перенести прах в другое место: не пристало их товарищу лежать у большой дороги. Однако останков не нашли. Никто так и не понял, кому и зачем они понадобились. Друзья погрустили, поклонились пустой могиле и улетели.

Да, Астролида... Впервые увидев ее, Ульдемир почему-то вспомнил Анну, хотя ничего общего между двумя женщинами не было. Вспомнил так четко, как если бы она лишь секунду назад стояла перед его глазами. А ведь он даже не мог точно сказать, когда и где видел ее в последний раз. Кажется – когда она убежала вместе со всеми в лес – после стрельбы на дороге... Во всяком случае, когда они покидали планету, Анны среди провожавших не было.

Наверное – повзрослела, и Ульдемир больше не был ей нужен. Ульдемир – это была романтика, пришелец извне, загадка, тайна. А потом ей стало нужно что-то проще и прочнее. Кто осудит?

Не Ульдемир.

Астролиду он встретил сдержанно. Он был против женщин в рейсе. То было не суеверие, хотя и без него, наверное, не обошлось: капитан как-никак родился в двадцатом веке, когда – где знание, а где – суеверие было еще не вполне ясно, и порою одно принимали за другое. Капитан был против женщин на борту из трезвого расчета. Мужики сами по себе – нормальный народ. Так думал Ульдемир. Но стоит появиться женщине – и инстинкты начинают подавлять рассудок. Так люди устроены. Природа.

Но Астролида была еще и современной женщиной. А их Ульдемир все же побаивался. Тут был не двадцатый век и не планета Даль-2. Насколько он мог судить по временам своего пребывания на нынешней Земле, современная женщина, скажем, могла появиться перед вами почти или даже совсем обнаженной. Ничего не скажешь, это было красиво: себя они держали

в порядке. Но не дай Бог сделать из этого какой-то далеко идущий вывод – если, допустим, вы пришли в гости и хозяйка приняла вас таким образом; в Ульдемировы времена такие выводы не заставили бы себя ждать. А тут невежа вмиг бы оказался на полу, и никто даже не помог бы ему подняться. Женщины просто стали богинями, а богиням неведомы ни страх, ни стеснение, богиня и нагая остается богиней. И в то же время от словечка, казавшегося капитану по нормам его времени ну совершенно невинным, такие и в книгах печатали (в газетах, правда, избегали), женщина могла прийти в неистовство или поссориться очень надолго. Однако корабль есть корабль, рейс есть рейс, и – полагал капитан Ульдемир – слова в рейсе порой вылетают не совсем те, что на приеме.

Вот почему он встретил Астролиду настороженно. Но постепенно привык. Никаких номеров она не выкидывала. На мужиков обращала не больше внимания, чем требовала дружеская вежливость. Питек, с его непосредственностью, разбежался было – и круто оказался завернут. А работала она хорошо, без скидок. Это Ульдемир понял с первых тренировок. И покорился. Потом она даже стала ему нравиться. Не более того. И то – издали. Может быть, потому что не его тип красоты представляла она, хотя красивой была несомненно. И потому еще, конечно, что дистанцию, разделявшую их на корабле, ни он, ни она сокращать были не вправе.

Так он думал. И думал еще и тогда, когда вдруг в тот вечер понял, что без нее – не может. Это обрушилось на него словно из засады, так что он лишь зубами скрипнул – из злости на самого себя, на бессилие, на невозможность приказать себе самому: «Отставить!»

Потом случилось то, что случилось.

И теперь, войдя в салон и оглядев каждого по очереди, он, стараясь не спешить, добрался взглядом и до того места, где следовало быть ей.

Это было как обнаженный провод. Словно у него вдруг искры посыпались из глаз. Ее не было.

Ульдемир почувствовал, как охватил его ужас. Небывалое для него состояние.

Она не сочла нужным прийти. Не хотела видеть его. Избегала. То, что было, – ошибка. Причуда. Насмешка. Пустяк.

Мир почернел. В душе сделалось зябко. Холодно. Морозно. Вместо той радости, что наполняла ее только что, – мороз.

Всего на несколько мгновений. Но этого хватило...

Капитан забыл, что женщинам свойственно опаздывать. А уж богиням – тем более.

Но тут она вошла наконец. И он посмотрел на нее, чтобы сразу все понять.

Люди весело разговаривали. Уве разливал по бокалам пенящийся сок. А они смотрели друг на друга. Секунду. Вторую.

Потом взгляд ее словно ушел куда-то. То ли в сторону от капитана, то ли – сквозь него.

Лицо женщины странно напряглось.

Ульдемир оглянулся: нет, позади него никто не стоял, да и некому было – все на глазах. А ведь именно таким было ее выражение, словно кто-то подкрался к тебе сзади, размахнулся – ножом или камнем, – и она увидела это и хочет крикнуть и взмахнуть рукой – и не может: сковали оцепенение и страх.

Он нерешительно улыбнулся, не понимая, что же ему сейчас: то ли окликнуть ее, то ли обидеться?

Он не успел ни того, ни другого. Уве-Йорген раздавал бокалы, другие брали их со стола сами. Астролида вдруг снова увидела Ульдемира: он явственно ощутил прикосновение ее взгляда. И хотел было улыбнуться: уголки рта поползли в стороны.

– Ульдемир! – сказала она громко. Именно «Ульдемир», а не «капитан», – и все умолкли и повернули головы к ней: так напряженно и сильно прозвучал ее голос. – Не бойся! Все будет хорошо!

Ни удивиться, ни рассердиться, ни ответить больше не осталось времени. Потому что чем-то неопределимым в своем существе капитан вдруг почувствовал, понял, постиг: плохо. Очень плохо. Ох, как же плохо, страшно, невыносимо, небывало...

Вообще стараются корабли зря не перетяжелить. Но обойтись без тяжелых металлов не удалось и на этой машине. Экраны главных, ходовых ее реакторов были из свинца. А малый, бытовой реактор работал по старинке, на обогащенном уране. Без лишних сложностей. Свинца вдруг не стало. И урана тоже. Как если бы их никогда не существовало в природе.

Но ничто не исчезает без следа. Каждый атом урана распался. И каждый атом свинца – тоже. На те, что полегче.

А при этом, как известно, выделяется энергия. И немалая.

Существовал только что корабль. В нем были люди. У людей – мысли, надежды, планы, ожидания, чувства. Любовь.

И вот – нет уже ничего. Вспыхнуло – и погасло. Словно светлячок мигнул, пролетая. Или искорка. И вроде бы даже ничто не изменилось в окружавшем их неуютном мире.

Только кварки разлетелись в разные стороны. Жили в одном атоме – и вот летят, один к галактике в Андромеде, другой к Магеллановым облакам. Но кварки родства не помнят.

Суета сует. И всяческая суета.

\* \* \*

Впрочем, все это присказка.

## Глава вторая

Круглый, бесконечно уходящий туннель мерцал, переливался, светился радужно, радостно. И надо было идти, торопиться, потому что непонятное, но прекрасное, небывалое ожидало впереди, кто-то был там, родной до боли, до слезного колотья в глазах, и зовущие голоса, неопознаваемые, но уверенно родные, накладывались один на другой, перебивая, обнимая. «Иди, – манили, – иди, иди...»

И он шел, спеша настичь их, познать, слиться воедино, исчезнуть, раствориться в счастье. Не надо было больше прилагать никаких усилий для движения: его уже несло что-то, все быстрее, стремительнее, так что кружилась голова, в ушах звенело. Он лишь протягивал руки с безмолвной просьбой: не уходите, обождите, возьмите меня! И его, как бы услышав, утешали: возьмем, ты наш, возьмем, ты только торопись, не отставай...

Потом другие голоса стали вторгаться, перебивая эти, родные. Новые голоса были чужими, но тоже дружескими, не страшными; однако что-то не привлекало в них, что-то не хотело с ними согласиться. Два их было, два голоса, и они твердили – четко, доступно – одно и то же: «Вставай. Вставай. Соберись. Заставь себя. Вставай. Мы держим тебя. Мы с тобой. Вставай. Не бойся. Все будет хорошо. Вставай!»

Их не хотелось слушать, эти резкие голоса, не хотелось с ними соглашаться; они требовали усилия, напряжения, изменения, а к первым голосам его несло по мерцающему туннелю легко, без затраты сил, без отвлечения. И все же он невольно вслушивался, потому что где-то трепыхалось воспоминание, смутное представление о том, что всю жизнь он только и делал, что собирался с силами, напрягался и вставал, и было в этом что-то хорошее и нужное. И он невольно прислушивался к тем, другим голосам, настойчивым, неотвязным; и стоило ему вслушаться, как они начинали звучать сильнее, а те, первые, ласковые – ослабевали; и все сильнее становилась сначала смутная догадка, а потом и уверенность, что надо, необходимо что-то сделать самому, какое-то усилие – громадное, величайшее – и ответить другим голосам, и совершить то, чего они от него требовали, и оказаться рядом, не слиться, нет, а именно встать рядом, оставаясь самим собой. Кем-то он ведь был. Он не знал, не помнил сейчас – кем, и от этого становилось страшно; но кем-то он точно был, и теперь стало вдруг очень нужно вспомнить – кем же. А для этого имелся только один способ: сделать то, чего от него хотели. Встать.

Он уже хотел было, не очень хорошо, впрочем, соображая, как же и куда он встанет, если и так идет по туннелю, легко, невесомо идет... Вдруг что-то необычайное обрушилось на него, лишая свободы его движения, стискивая его, прижимая к чему-то. Пронзительная боль вспыхнула. Голоса гремели, усилившись необычайно: «Встань и иди!» Теперь налившая его тяжесть ясно показала, что он лежит, занимая определенное положение в пространстве. Лежит в туннеле? Но мерцавшие стены размывались, раздвигались, исчезали неразличимо, а другой свет возникал, бил сквозь закрытые, как оказалось, веки – сильный, белый, безжалостный, неровный, пятнистый какой-то, свет извне, свет мира. Когда-то уже было так. Когда родился?... И он, свет этот, хотя и по-своему, не голосом, диктовал, приказывал: «Встань. Встань. Иди».

Тогда он медленно, словно штангу поднимая всеми силами, открыл глаза.

То, что он увидел, было рядом, на расстоянии метров до двух; дальше все расплывалось, раскачивалось, перемежалось, словно разные краски были брошены в воду одновременно и медленно распространялись в ней, перемешиваясь. Тут рядом был человек – один человек; и какое-то ощущение недавнего, сиюминутного присутствия второго, но этого другого уже не было видно – он удалился, наверное, то ли совсем, то ли за пределы двухметрового четко очерченного круга видимости. Тот человек, что находился здесь, стоял рядом и сверху вниз смотрел на лежащего, а тот на стоящего – снизу вверх; встретился глазами и снова закрыл свои,

потому что смотреть вверх было утомительно. Закрыв лишь на миг, правда: что-то толкнуло изнутри и приказало: «Открой». Он послушно открыл. Стоявший по-прежнему глядел на него, чуть улыбаясь – не насмешливо, а доброжелательно и удовлетворенно, как смотрит мастер на законченный свой труд. На этот раз лежащий, обходя встречный взгляд, прикоснулся глазами к чужому лицу – худому, четкому, немолодому, но полному сил и воли, так что определение «старый» тут никак не подошло бы. Слова быстро возвращались в память, и теперь лежавший знал, что такое «молодой», что – «старый, и многие другие слова и их значение.

– Сядь, – сказал стоявший сильный человек. – Ты можешь. Достанет сил. Не прислушивайся к сомнениям. Сядь. Ты забыл немного, как это делается. Но вспомни. Садись...

Забыл, и в самом деле. И невероятная, припечатавшая его к полу сила тоже мешала. Он хотел было попросить, чтобы тяжесть убрали. Но вдруг как-то сразу понял, что тяжесть эта – он сам, его тело, плоть и кровь, мускулы и кости. А как только лежавший понял, что это – тело, так сразу вспомнил и как действуют им, как садятся и даже, пожалуй, как встают. Он захотел сесть – и вдруг на самом деле приподнялся и сел, и, уже непроизвольно, улыбнулся чуть виновато, словно смущаясь своей слабости.

– Хорошо, – сказал стоявший. – У тебя все хорошо. Кто ты?

– Я? – Вопрос немного удивил его, тут все было вроде бы ясно. – Я – это я.

– Ну, а ты – кто такой?

Да, правильно, был в этом вопросе некоторый смысл. Он ведь должен был кем-то быть, иначе все получалось слишком неопределенно.

– Вспомнил! Я – Ульдемир!

И сразу же все встало на свои места. Он рывком сбросил ноги на пол. Мир колыхнулся, но устоял. Ульдемир осмотрелся, нелегко, как чужую, поворачивая голову.

– Где я? Что было? И где... все?

Маленькая заминка произошла в сознании, когда возникал этот третий вопрос. Сначала получалось по-другому: где она? И лишь что-то непонятное заставило его сперва спросить обо всех.

Стоявший кивнул, как учитель, подтверждающий правильность ответа.

– Можешь звать меня Мастером.

Это было сейчас не так-то и важно для Ульдемира, и он только машинально кивнул.

– Что с нами случилось?

– Катастрофа.

Слово больно ужалило Ульдемира, вкус его был горько-соленым. Слово источало стыд и обиду. С ним не хотелось соглашаться.

– У нас все было в порядке!

– Вы ни в чем не виноваты.

– Пространство было чистым и спокойным!

– Да. То есть то в пространстве, что вы способны воспринимать.

Это могло показаться вызовом – или приглашением к вопросам. Но Ульдемир не стал отвлекаться.

– Корабль был совершенно исправен!

– Справедливо, Ульдемир.

– Что же произошло?

– То, что не зависело от вас. Так ли уж это важно? – Мастер подумал. – Некогда вы не знали о микробах. Воздух казался чистым. Но люди заболели. И гибли...

– Как нас спасли? Ведь вблизи никого не было.

– Это оказалось нелегко. Однако вот ты сидишь и говоришь со мной.

– Я. А другие?

– С ними тоже благополучно.



– Все живы?

Мастер помолчал, словно раздумывая.

– Ты увидишь.

– Я спрашиваю: все?

– Я ведь не знаю, сколько вас было.

Да, конечно: откуда ему знать? Кстати, а кто он вообще такой, этот Мастер? Откуда взялся? Что это за мир? Как они успели?.. Вопросы нахлынули вдруг, словно плотина рухнула под мягким и неодолимым напором. Но это – ладно, сейчас не это самое главное.

– Сколько нас было?

Он стал считать, вспоминая имена. Они выскакивали в памяти в нужном порядке, словно кто-то нажимал на клавиши. Уве-Йорген. Георгий. Рука. Питек. Астролида... Как-то получилось, что она назвалась тогда, когда подошла ее очередь по судовой роли, хотя она-то была в памяти все время; она, а не имя. Имя всплыло сейчас. Значит, пять. И четверо ученых. Девять? Так получалось. Но было в цифре какое-то несоответствие. Незавершенность. Ульдемир сосредоточился, но не вспомнил. Значит, все же девять.

– Девять человек.

– В таком случае, все.

Ульдемир перевел дыхание.

– Все живы?

– Да. Хотя, – Мастер предварил новый вопрос, – увидеться вы сможете не сразу. Ты еще слаб, да и они тоже. Немного придите в себя. Тогда.

– Спасибо, Мастер.

– У нас говорят: тепла тебе.

– Вот как? Забавно... У вас, наверное, стоят холода?.. Тепла тебе, Мастер. Вы оказались рядом в самое время. Тепла тебе. Так где же мы? На корабле? Это ваш корабль? Я и правда еще не пришел в себя как следует: тебя вижу четко, а дальше какой-то туман. Откуда вы? Куда летите? Экспедиция? И... – Ульдемир вдруг запнулся. – Как можем мы понимать друг друга? Вы тоже – потомки Земли? Древних переселенцев? Конечно же! Ты – человек, как я, как все мы...

– Да, Ульдемир, все мы – люди. Потомки ли мы Земли? Вряд ли. Скорее можно было сказать наоборот... Но все мы – люди и поэтому понимаем друг друга.

– Но ты говоришь на языке Земли! Именно говоришь!

– А хочешь – поговорим по-русски?

– Откуда ты знаешь?

Мастер поглядел чуть насмешливо:

– У меня способности к языкам.

Это вдруг показалось смешным Ульдемиру, страшно смешным, ну просто до невозможности! Он захохотал – все сильнее, резче, громче, не мог уже остановиться, это истерика была, смехом исходил, исторгался из Ульдемира ужас, тяжесть, отупляющая непостижимость случившегося... Мастер ждал, глядя на него, пока Ульдемир не перестал наконец смеяться, утомившись.

– Можешь снова лечь. Набирайся сил. Потом, когда отдохнешь, проверь все.

– Что проверить?

– Себя самого.

– Опять смешно. Что мне в себе проверять? Биографию? Чистоту помыслов?

– Самого себя. Все ли хорошо и правильно. Все ли действует так, как надо.

– Э?..

– Ты полагаешь, что вот таким и был после взрыва? Целым и невредимым?

Ульдемир медленно поднял перед собой ладонь и долго, серьезно разглядывал ее. Потом поднял левую.

– Вот оно что... Да, понимаю. Был взрыв. Что же взорвалось?

– Все.

– Корабль погиб?

– Излучение и пыль, вот что осталось от него. И от вас.

– Как же мы?... Как вы?..

– Сейчас это не важно. Просто мы многое умеем.

– Вы доставите нас на Землю? Вам нечего бояться. Мы – мирная и великая цивилизация. И от контакта с нами вы только выиграете. Я не могу объяснить подробно, но поговори с нашими учеными. Они все расскажут. Ты назвался мастером. Значит, хорошо разберешься в достоинствах нашей цивилизации. Нет, вам просто повезло, что вы встретили нас. Нам, конечно, тоже... Прости, я болтаю бессвязно – кружится голова...

– Лежи. Отдыхай. У нас будет, я надеюсь, время, чтобы поговорить о разных вещах. О Земле. О тебе. Обо всем, что может интересовать тебя и меня.

– Лучше скажи – вас и нас. Ты ведь не одиночка, и я тоже.

– На это трудно ответить сразу.

– Знаешь, Мастер, мне правда лучше еще полежать.

– Хорошо. Я приду, когда будет нужно.

– Я позову тогда. Или приходи сам, когда захочешь.

– Когда понадобится. А ты отдохни, подкрепись. Можешь выйти, походить. Это полезно.

– Я не вижу, куда выйти, что вокруг... Туман.

– Увидишь, когда придет время.

– Мне постоянно чудятся в твоих словах какие-то загадки. Я не люблю загадок, Мастер.

– Никаких загадок. Все просто. Все очень просто. Но понять простоту порой бывает сложно. – На лице Мастера промелькнула вдруг озорная улыбка. – Помнишь, Ульдемир?

Но мы пощажены не будем,  
Когда ее не утаим...

– Мастер! Ты... Это шутка! Нас спасли свои!

– Разве можно прерывать в таком месте, Ульдемир?

Она всего нужнее людям,  
Но сложное – понятней им!

Ульдемир хотел сказать еще что-то. Но в тех пределах, в каких ему пока дано было видеть, уже никого не осталось, и он закрыл глаза, ощущая крайнюю усталость.

Он задремал. Но что-то не давало лежать спокойно. Ощущение какой-то недоговоренности. Недостаточности. Незавершенности. Он не мог понять, в чем причина, и тяжело переворачивался с боку на бок. Потом забылся. Наверное, что-то снилось ему. Но что – он потом так и не вспомнил. А жаль. Потому что снилось что-то хорошее. Это он понял, пробудившись в отличном настроении. Но стоило ему проснуться, как то самое ощущение незавершенности вновь овладело им, и никак не удавалось подавить это ощущение, отвязаться от него.

Чтобы отвлечься, Ульдемир начал знакомиться с окружающим его миром. Хотя бы в пределах того круга, что был очерчен для его восприятия. Кем и как очерчен, было непонятно, однако это уже вопрос другой. Ульдемир стал оглядываться и ощупывать, и чем дальше, тем меньше, казалось ему, понимал хоть что-то в окружающем.

Все, что он видел и ощущал вокруг себя, было таким же, каким он привык видеть и ощущать с тех пор, как оказался на Земле новой эпохи. И ложе, и покрывала, или для него по старинке простыни, и одеяло, и белье на нем самом – все было вроде бы таким же, знакомым и даже не вовсе новым, а бывшим уже в употреблении. Так воспринималось оно взглядом. Но когда Ульдемир стал всматриваться повнимательнее, пробовать на ощупь, а порой даже и на зуб кое-что, ощущение повседневной знакомости исчезало, и возникало совсем другое: впечатление чуждости и даже какой-то враждебности. Простыни были – не полотно, не лен и не синтетика даже, какая была Ульдемиру знакома, они лишь казались ткаными, на самом деле то был лишь мелкий рельеф, как у клеенки, но в то же время они были мягкими, теплыми, хорошо дышали, как и все прочее белье, но все время казались чуть заряженными, так что порой возникало чувство, что они живые, и тепло их, как тепло другого человека, – это тепло жизни. Но это не радовало, а, напротив, немного пугало и было неприятным, как если бы все время кто-то присутствовал рядом и наблюдал за ним, а если Ульдемир ложился и накрывался, то не мог избавиться от чувства, что доставляет неудобства тем, на кого ложился и кем накрывался. Относилось это и к ложу, формой точно копировавшему корабельное, стоявшее у него в каюте (и боль на миг схватила сердце, когда он вспомнил о корабле), – но только формой, а сделано оно было тоже из непонятого материала, теплого и как бы живого; относилось это и к столику, что оказался вдруг в поле его зрения, и к стульям вокруг него. Одновременно со столом возникло вдруг и множество запахов, какие доносятся порой из хорошо налаженной кухни, и Ульдемир внезапно понял, что страшно голоден, и, махнув рукой на все остальное, уселся за стол, даже не подумав, что следовало бы, пожалуй, умыться. Впрочем, ощущение у него было такое, словно он только что из ванны, и потри кожу ладонью – она заскрипит.

Он так и сделал, кстати; потому что страшная мысль ударила вдруг его: а что, если и сам он – лишь видимость человека теперь, а на самом деле тоже какой-нибудь полимер или что там еще? Однако тут же от сердца отлегло: нет, человеком он был, человеком до кончиков ногтей, до последнего волоска на коже. И именно самим собой: маленький шрам на указательном пальце левой руки, след нарыва, оставшийся, помнится, с шестилетнего возраста, был тут как тут; не обнаружив поблизости зеркала, Ульдемир слегка прикоснулся пальцами к носу и нащупал знакомое искривление, память о юношеском увлечении боксом, и даже обиделся: те, кто латал его, могли бы заодно и это поправить, облагородить облик, он не стал бы предъявлять претензий. Латать – именно так он и подумал, это легко укладывалось в сознание, хотя если бы он всерьез задумался, то понял бы, что после атомного взрыва латать бывает нечего; впрочем, о характере взрыва он знал сейчас не больше, чем о его причинах.

На столе вкусно пахло жареное мясо, лежала зелень, свежий хлеб; еще более сильный и нужный аромат исходила большая (как он привык) чашка черного кофе с лимоном. Лимон почему-то рассмешил и умилил его. Не просто кофе, а с лимоном, вот тебе! Что называется, знай наших, или – фирма не жалеет затрат!

Все укреплялось в мысли, что попали они все-таки к землянам, родным или, в крайнем случае, двоюродным (кофе с лимоном, ты смотри, а?). Ульдемир все же не сразу решился воткнуть в мясо вилку и прикоснуться ножом. Нелепая мысль, что оно тоже, как и простыни, живое, неожиданно смутила его, и, если бы жаркое вдруг взвизгнуло от боли и соскочило с тарелки, это, пожалуй, испугало бы капитана, но не удивило. Однако никто не визжал и не прыгал, и ощущение подлинности возникло и уже не оставляло его до последнего глотка кофе.

Еда утомила; он закрыл глаза и откинулся на спинку стула, но решил, что ложиться больше не будет, а просто отдохнет так, а потом сразу попытается найти выход из этой – из этого – из того, где он находился сейчас, безразлично, дом это, корабельная каюта или еще что-нибудь другое. И лишь постаравшись самостоятельно понять максимум возможного, потребовать приема у тех, кто командовал этим «чем-то», и всерьез договориться о быстрейшем, по возможности, возвращении на Землю и об установлении взаимовыгодных контактов между

цивилизациями, находящимися, как ему казалось, примерно на одной и той же стадии развития (пусть эти и были, видимо, чуть впереди, но ведь и о возможностях нынешней Земли он знал далеко не все) и способными, следовательно, чем-то обогатить друг друга. Это была большая удача – встретиться с такой цивилизацией, и Ульдемир полагал, что она в значительной степени облегчит досаду Земли из-за неуспеха экспедиции и потери корабля и уменьшит его вину, которой он не мог не ощущать, хотя и не знал, в чем она могла заключаться; а может быть, и посодействует, в частности, решению тех энергетических проблем, ради которых корабль и вышел в пространство. Но прежде всего радовало его то, что спасены были все люди и, следовательно, самой большой и острой боли Земля не ощутит.

Об этом он медленно размышлял, пока не почувствовал, что сил у него стало вроде бы больше. Тогда он встал, огляделся в своем тесном круге, за пределами которого по-прежнему не различал ничего, и, не обнаружив нового, решил, что пойдет – ну хотя бы в направлении от ложа мимо стола – по прямой, пока не наткнется на какую-то преграду, переборку, а тогда двинется вдоль нее и рано или поздно обнаружит выход. Выхода не могло не быть. Мастер не говорил, что Ульдемир должен оставаться на месте, напротив, советовал прогуляться и оглядеться.

Ульдемир встал. Одежда висела на спинке другого стула так, как он сам вешал ее обычно, – его повседневная корабельная одежда. Она тоже была чужой, но к этому он уже начал привыкать. Ульдемир оделся, обулся, пошарил по карманам – там нашлось все, чему полагалось находиться, – и решительно двинулся вперед, намереваясь ничем больше не отвлекаться и не строить гипотез, пока не увидит чего-то нового, что даст материал для размышлений. Он сделал несколько шагов.

\* \* \*

Он сделал всего несколько шагов, и вдруг все изменилось вокруг него, как если бы что-то рухнуло, растаяло; исчезла дымка, многоцветный туман, и стало видно далеко-далеко. И эта внезапная ясность оказалась столь неожиданной, что Ульдемир остановился, как если бы перед ним раскрылась бездна; остановился и стал смотреть, пытаясь понять, что же это было и как это следовало оценивать.

Это не могло быть кораблем. Не было ни малейшего признака того ощущения замкнутости пространства, какое не покидало его на своем корабле, так что капитан привык к этому ощущению, как к необходимой части жизни. Конечно, и на корабле были Сады памяти, но там всегда оставалось хотя бы чисто подсознательное ощущение ненастоящести и ограниченности этого квазипростора.

А сейчас он стоял на обширной открытой веранде, залитой золотистым светом, исходящим отовсюду и не дававшим теней. Дом – двухэтажный коттедж вполне земной и даже не современной, а давней архитектуры, с крутой высокой (капитан запрокинул голову, чтобы увидеть это) крышей, с балкончиками наверху и башенками – стоял на пригорке, и поросший яркой муравой луг убегал от него, пересеченный неширокой прозрачной, медленно струящейся речкой, окаймленной невысокими кустами, – убегал к кромке леса, видневшегося вдали и как бы заключающего луг с речкой и домом в раму. Хотя дом, как было сказано, и возвышался над лугом, но лес у горизонта был, казалось, выше, как если бы луг был дном то ли чаши, то ли блюда – и непонятно было, как речка в дальнейшем течении могла взбираться вверх. Впрочем, может быть, она и не взбиралась, а впадала в какое-то маленькое и невидимое отсюда озерцо. Выше было небо, густое, южное, цвета индиго, в котором привычный глаз искал необходимое для завершения и полной убедительности картины солнце – и не находил его, хотя свет был июньский, утренний, животворный. Был свет, и был запах, хмельной запах летнего утра, солнца и меда, и цветущей травы, и теплого тела. Ульдемир постоял, не моргая, боясь, что от

малейшего движения век все это исчезнет и останется лишь непрозрачная дымка и двухметровый круг; наконец глаза, не вытерпев яркости, моргнули – все осталось, ничто не обмануло, не подвело. Прожужжала пчела, прошелестел ветерок, где-то перекликнулись птицы – жизнь журчала вокруг, ненавязчивая, себя не рекламирующая, занятая сама собой – жизнью, когда все происходит там, тогда и так, когда и где нужно, и никто не препятствует происходящему. Ульдемир стоял бездумно, беспроблемно, бестревожно, забыв дышать, пока легкие сами собой не заполнились до отказа воздухом и не выдохнули его чуть погодя. То был вздох не печали, но полноты чувств. Еще мгновение – и невозможно стало переносить эти чувства одному; другой человек понадобился, женщина, о которой говорило, пело, шелестело все вокруг. И – как будто дано было сегодня незамедлительно сбываться желаниям – послышались шаги на веранде, там, где она, изогнувшись, скрывалась за углом дома. Ульдемир повернулся, шагнул навстречу, заранее приподнимая руки; но то был Мастер, и руки опали.

Мастер подошел, остановился вплотную, положил руку на плечо Ульдемира, как бы обнимая – с высоты его роста это было легко. Странное, прокалывающее тепло от ладони пришедшего проникло в тело и растеклось по нему, уничтожая последние остатки слабости, неуверенности, боязни. Дружелюбием веяло от Мастера, и стало можно спросить его, словно старого знакомого:

– Что это за чудо, Мастер? Где мы? Что за планета?

– Это Ферма, – ответил Мастер, не уточняя остального. – Не вся Ферма, конечно, – она обширна, ее не охватишь взглядом; ты, во всяком случае, не сможешь. Но и это относится к ней.

– Райский угол... Мастер, я отдохнул и чувствую себя прекрасно. Спасибо... то есть тепла тебе, хотя тепла здесь, по-моему, достаточно, а я уж ожидал, что вокруг окажутся льды... Итак, я в наилучшей форме, и пора мне, думаю, встретиться с моим экипажем. Если они чувствуют себя хоть вполовину так хорошо, как я.

– А если нет?

– Тогда – тем более. Мастер, что с ними?

– Не волнуйся. Им не хуже, чем тебе.

– Тогда, прошу тебя, не станем медлить. Но... – Ульдемир замялся, потом продолжал решительно: – Прежде чем увидеть всех, я хотел бы встретиться с... нею.

– С кем?

– С Астролидой. Ну, с женщиной. Не думай, – почему-то смутился он вдруг, – ничего такого. Просто она женщина и, может быть, хочет сказать мне что-то, что ей будет неудобно говорить при всех.

– Женщина? – казалось, Мастер не понимал его. – Извини, но я не уразумел до конца. Разве у вас была женщина в экипаже? Или ты увидел, успел заметить какую-то здесь?

– Мастер! – проговорил Ульдемир в гневном страхе. – Ты сказал мне, что спасены все!

– Нет. Этого я не знаю. Спасено девятеро, и я еще раз подтверждаю это.

– Ну?

– Это одни мужчины. Девять, включая тебя.

Ульдемир посмотрел на него, в первый миг не понимая еще. Но тут же сообразил – и руки задрожали, сердце стало раскачиваться, как колокол, и ноги перестали повиноваться.

Девять, считая и его. Но ведь он себя не считал! Девять – это без него. С ним – десять! Вот откуда то ощущение...

– И среди нас... не было женщины?

Мастер качнул головой.

– Почему так? Ну почему?..

Больше слов у Ульдемира не оказалось. И вообще ничего у него теперь не было. Потому что ничто не было нужно.

– Как же так? – смог он еще выговорить после паузы, так и не сумев понять, чем так провинился он перед жизнью, что она, уже первым ударом сбив его с ног, наносит лежащему и второй, чтобы добить окончательно. Рука Мастера крепко лежала на плече капитана; Ульдемир попытался было сбросить ее, но Мастер словно и не заметил движения.

– Ульдемир, а если бы недосчитались кого-нибудь из мужчин, разве ты горевал бы меньше?

Ульдемир по-мальчишески мотнул головой.

– Разве ты не понимаешь? Нам, мужчинам, полагается рисковать. Без этого нет полноты жизни. Такое в нас заложено. И если гибнет кто-то из нас, то, конечно, горько и обидно, но... это естественно, понимаешь? Прости, ты, похоже, думаешь, что ты старше меня (Мастер усмехнулся углом рта), но на деле я родился очень, очень давно, и, может быть, то, как я думаю, покажется тебе, всем вам старомодным – но весь мой экипаж мыслит так, потому что все мы родились во времена, когда мужчина был еще или по крайней мере мог быть мужчиной – хотя я застал эти времена уже на закате. И вот я или любой из нас восприняли бы гибель одного из нас как прискорбную закономерность. Но когда гибнет женщина, а мы остаемся в живых – девять здоровых мужчин...

– Ты объясняешь очень убедительно, – сказал Мастер, по-прежнему чуть усмехаясь. – Но ответь: ты любил ее? Очень?

Мальчик стесняется говорить о любви, уклоняясь то в замкнутость, то в цинизм: цена любви ему еще неизвестна. Но мужчина говорит о ней, когда нужно, хотя молчит, когда в признаниях нет нужды. И Ульдемир ответил:

– Да.

– Но ведь ты любил и раньше, верно? Только не отвечай чем-нибудь вроде того, что ты и вчера обедал или что каждая новая любовь сильнее, потому что те уже в прошлом, эта же – настоящая. Скажи кратко.

– Любил. И если бы не она, то не знал бы истинной цены любви. Но говорить об этом я не хочу больше. Это мое дело. Ты спас меня. Но лучше бы – ее. Вот и все. – Ульдемир не знал, что сейчас лучше: остаться одному со своей болью или попытаться растворить ее в общении с друзьями. – Но остальных-то я могу видеть?

– Несомненно. Однако прости меня – именно сейчас у меня возникла потребность говорить о любви, и именно с тобой. Поверь мне: это не бессмысленная прихоть.

– Не вижу смысла.

– А в чем ты вообще видишь смысл? Ты, младенец в огромном мире... Не тебе знать, в чем какой смысл сокрыт. Скажи мне: что гнетет тебя? Потеря женщины? Или – потеря любви?

– Одно и то же.

– О, дитя!.. Любовь – это часть тебя. Женщина – сама по себе, она – иное существо. Ты сам признался, что любил и раньше. Следовательно, объекты любви могут меняться. А чувство в тебе остается. Слушай. Та женщина исчезла. Сожалею. Но ее больше нет. И тут я бессилен. А вот дать тебе иную любовь – это задача не кажется мне неразрешимой.

– Пустое, Мастер. Не знаю, какие парадоксы ты еще сочинишь, но меня ими не убедить. Я не хочу другой любви. Пусть Астролиды нет – я буду любить ее всю жизнь, все равно. В памяти она жива. Нам не привыкать к тому, что самое дорогое находится далеко от нас и в пространстве, и во времени. И пусть у нас с ней было очень немного – в нем содержалось столько всего, что хватит на остаток жизни. Спасибо за сочувствие. Но мы привыкли справляться с горем сами.

– А это вовсе не сочувствие, Ульдемир. Я корыстен. И совсем не предлагаю свою помощь задаром. Альтруизм – не мой грех.

– А если я не нуждаюсь в помощи?

– Еще как нуждаешься! Потому что, видишь ли, мне нужен ты. И не для того, чтобы проводить с тобою время: у меня вечно не хватает времени, хотя я и не скован им так, как ты и все вы. Ты нужен мне для серьезных дел. Но без моей помощи тебе их не выполнить. А моя помощь и будет заключаться в том, чтобы дать тебе всю ту силу, которая вообще может в тебе возникнуть. А значит – дать тебе и любовь, потому что человек, вооруженный любовью, сильнее вдвое, а может быть, и втрое.

– Не знаю, что у тебя за дела, Мастер. Но у нас достаточно своих. Я уже говорил: только доставьте нас на Землю...

– Готов. Любого, кто захочет. Но только после того, как все вы сделаете то, о чем я попрошу.

– Тебе не кажется, что пользоваться нашей зависимостью недостойно?

– Нет. Зависимость – слишком мягкое слово, да и неточное. Вас уже не было, понимаешь? Вы исчезли. Но я вернул вас – потому что вы мне нужны.

– Я вижу, ты гуманист, Мастер...

– А ты гуманен – к рыжим муравьям? Но остерегайся судить, не зная всех обстоятельств. Тебе рано в судьи, человек с Земли; хорошо, если вы доросли до того, чтобы быть свидетелями. Ты ведь больше не полагаешь, что ты и твои спутники остались живыми после взрыва? (Ульдемир невольно провел рукой по бедрам, проверяя.) Нет, Ульдемир, с позиции вашего уровня знаний вас просто больше не было. Но уже в твоё время занимались реанимацией; примитив, конечно, но все же – движение в нужном направлении. А вас мне пришлось рекомбинировать по оттиску пространственной памяти: след ведь остается и в пространстве, а не только на мокром песке. Можешь считать, что я создал вас заново – и вправе делать с вами все, что хочу. Но я предпочитаю не приказывать, а просить. И предлагаю тебе условия договора. Ты сделаешь то, что поручу, честно отдавая все силы. И пока ты будешь занят этим, останешься подчиненным мне. И станешь пользоваться тем, что я тебе дам. И если я захочу, чтобы ты полюбил, – полюбишь...

– Нет.

– Какая самоуверенность! Ну а потом в благодарность за сделанное я отправлю тебя на Землю. Тебя и любого, кто захочет.

– Захотят все.

– Значит, и отправлю всех.

– Жестоко, Мастер, и несправедливо. Но ты не хочешь нашей благодарности, хочешь, чтобы мы отработали свое спасение – будь по-твоему. Договор так договор. Не прикажешь ли расписаться кровью?

– Достаточно слова.

– Но с оговоркой. Может быть, тебе это не совсем понятно, но у нас, у каждого, есть представление о такой вещи, как мораль. И если твое поручение связано с нарушением морали...

«Черт меня возьми, – подумал вдруг Ульдемир. – Да это просто идиотизм какой-то. Погиб корабль. Астролида погибла, а я тут изъясняюсь с этим сумасшедшим, да еще какими-то дурацкими словами».

– Мора-аль, – протяжно произнес Мастер, непонятно – с иронией или просто уважение прозвучало в его голосе. – Ну а какова же твоя мораль? К примеру, что она велит делать с падающим? Поддержать? Или подтолкнуть?

Это Ульдемир знал давно: не всякого падающего следует вытаскивать. Иного и на самом деле стоит подтолкнуть, потом присыпать землей, а для верности еще и вогнать осиновый кол.

– Смотря кто падает.

– И решать будешь ты. Нет-нет, я понимаю: ты будешь исходить не только из своих симпатий. Ты станешь оправдываться – ну, хотя бы интересами общества. А ты уверен, что всегда правильно их понимаешь? Есть у тебя абсолютные критерии того, что – добро и что – зло?



– Абсолютных не бывает.

– Ошибаешься. Они есть. Но если бы даже было по-твоему – на каждом новом уровне знания люди поднимают свои относительные критерии все выше. А значит, и сама мораль становится выше и совершеннее. Но поскольку она при этом неизбежно изменяется, то на каком-то этапе новые критерии могут оказаться противоположными твоей морали, и ты решишь, что они поэтому вредны и носителя их надо толкнуть, чтобы он упал...

– К чему этот разговор, Мастер?

– А мне интересно, что ты за человек, что за люди все вы. Погоди, не начинай излагать мне основы твоего мировоззрения: они тут известны. Но ведь прочитанное или услышанное каждый понимает по-своему, и мораль каждой эпохи есть лишь средняя величина множества личных моралей. И вот меня интересует: кто ты таков, что можешь и чего не можешь, насколько можно тебе верить и насколько – нельзя?

– Мне трудно ответить.

– И не надо, Ульдемир. Судят по поступкам. Вот я и дам тебе возможность совершать поступки, а потом ты придешь, и мы рассудим.

– Да почему именно я? Прилетайте на Землю. Там...

– Захотим ли мы посетить Землю – вопрос иной, и сейчас мы об этом говорить не станем. Пока речь – о тебе. О твоих поступках. Ты скорбишь о женщине – это поступок. Ты отказываешься от другой любви: продолжение первого поступка. Возникает определенное впечатление о тебе, как о человеке, способном хранить верность – или, во всяком случае, стремиться к этому. Даже вопреки здравому смыслу. Потому что если бы ты задумался, то понял: от любви отказаться невозможно, любовь – не акт воли. Пока ее нет, отказываться не от чего. Когда есть, отказываться поздно. Отказаться можно от проявлений любви – это другое дело, и, по сути, мы говорим именно об этом. Но подойдем к нашей теме иначе. А если я скажу тебе, Ульдемир: сделай то, что я попрошу, – и в награду я верну тебе ту женщину, о которой ты тоскуешь! И если то, о чем я попрошу, не будет совпадать с твоей моралью, полностью или частично – как велико должно быть это расхождение, чтобы ты отказался? Способен ли ты вообще отказаться? Или – способен ли согласиться?

Ульдемир уперся в Мастера взглядом.

– Она жива?

– Жива, не жива – понятия относительные, как ты можешь судить на собственном опыте...

Но Ульдемир успел уже, пусть на мгновение, отчаянно, исступленно поверить: жива! Или – может оказаться живой...

– Хватит отвлеченных рассуждений! Говори, чего ты ждешь от меня. И я отвечу.

– Скажу, когда придет время. – Казалось, Мастеру доставляла немалое удовольствие эта беседа, в которой он, как большой черный кот, то выпускал когти, то втягивал их и касался мыши гладкой лапой. – А теперь рассмотрим еще одну возможность. Астролида возникнет. И окажется, что ты-то ее любишь, а она тебя – нет. И все, что случилось ночью в твоей каюте («Черт, откуда он все знает?» – мелькнуло), было лишь миражом – просто почудилось ей и исчезло. И она пройдет мимо, лишь по-дружески кивнув тебе. Стоит ли в таком случае возвращать ее?

– Да, – почти беззвучно проговорил Ульдемир.

– Но тебе будет куда больнее. Ведь сейчас она целиком твоя. А тогда – если она окажется не одна...

– Все равно, Мастер: если есть хоть малейший шанс...

– Как же так? Объясни.

Ульдемиру вдруг показалось, что очень многое зависит от того, что он сейчас ответит.

– Потому, Мастер... Как объяснить тебе? Если в любви любишь самого себя – тогда, конечно, не надо. Но если любишь другого – значит, любишь самое его существование, как бы он сам ни относился к тебе. Пусть она будет, Мастер!

– Романтик! – усмехнулся Мастер беззлобно и даже как бы сочувственно. – Ну что же, для первого знакомства мы поговорили достаточно.

– Нет, погоди, нельзя же так! Ты обещаешь?

– Обещать – не в моих правилах, Ульдемир. Ничего сверх того, что необходимо, а необходимое входит в договор. – Голос его был холоден и деловит. – Поговорим теперь о деле, от которого зависит, весьма возможно, и все остальное.

– Я готов, – сказал Ульдемир, напрягая мускулы, как если бы действовать предстояло немедленно: бежать куда-то, настигать, бить кулаками... – Что надо сделать?

– Этого-то я и не знаю.

– Опять шутки?

– Будь почтительнее, Ульдемир. Я говорю правду. Я знаю, чего надо добиться, но не знаю – как. Это ты увидишь на месте, а вернее – решишь на месте. Ты станешь поступать так, как подскажут тебе обстановка и эта твоя мораль – потому что больше тебе не с кем будет посоветоваться.

– А мой экипаж? Разве эти люди не пойдут со мной?

– Они, возможно, там будут.

– Значит, найдется с кем посоветоваться.

– Они будут, но ты можешь и не опознать их там.

Ульдемир недоверчиво усмехнулся.

– А когда ты глянешь в зеркало на самого себя, ты не узнаешь и себя тоже. Ты будешь совсем другим человеком, как и они. Другое имя, внешность, знания, функции. Другое общество, другая планета. И только в глубине сознания ты будешь помнить, что кроме всего прочего ты еще и капитан Ульдемир. И капитан будет выходить на сцену лишь в критические секунды. А в остальном каждый из вас станет частью той жизни, с ощущением, что та жизнь для вас – единственная и настоящая. Иначе нельзя.

– И все же я не понимаю одного.

– Постараюсь ответить.

– Зачем тебе я? Если бы ты посылал меня туда, где я – или мы – были бы единственными людьми, тогда понятно. Но если там, куда я должен попасть, существует общество, человечество...

– Все это там есть.

– Так почему же ты не поручишь это одному из них? На твои условия согласились бы многие. Разве там нет никого, потерявшего любимую? Или претерпевшего еще что-то такое, после чего трудно жить?

– Застигнутых бедой людей можно найти везде. Остановка не за этим. Но попытаюсь объяснить тебе, почему я действую так, а не иначе. Чтобы заставить человека оттуда сделать то, что мне нужно, мне пришлось бы принудить его видеть мир, в котором он живет совсем иначе. Так, как видим его мы отсюда.

– Ну и что же?

– Ему было бы очень тяжело, Ульдемир. И он перестал бы быть тем, кто мне нужен. Вот хотя бы ты: жаждешь вернуться на Землю, хотя по нашим меркам она весьма далека от идеала даже и сегодня, мало того... Но это в другой раз. Ты хочешь вернуться на Землю, потому что она – твоя, какой бы она ни выглядела для стороннего взгляда. И ты согласен выполнить мое поручение именно ради того, чтобы я потом отправил тебя на Землю. Тут все в порядке. Ну, а тот человек? Что я предложу ему? Ведь мне именно и нужно, чтобы его мир не остался таким, к которому этот человек привык, но чтобы этот его мир изменился! Изменился – потому что

от этого зависит очень многое за пределами их мирка... Мне нечем будет наградить этого человека, Ульдемир, то, что я смогу дать ему, – ничтожно по сравнению с тем, что он сам у себя отнимет...

– И потому ты предоставляешь совершить это мне.

– Не пугайся: ты не совершишь ничего, что шло бы во вред тем людям – подавляющему их большинству во всяком случае. Меня останавливает не то, как отразились бы на этом человеке результаты его дел – они будут благотворны, – но то, что станет происходить в нем, пока он будет делать нужное мне дело, выступит один против всего мира – его родного мира... А тебя тут выручит именно то, что ты – Ульдемир с далекой Земли. – Мастер помолчал. – И еще одно. Сделать то, что мне нужно, способен не всякий. Ты – годишься. Именно сейчас. Не знаю, может быть, некоторое время назад ты совершенно не подошел бы... Да, вот важное обстоятельство. Тебе может показаться, что ты там будешь кем-то вроде актера, будешь играть роль. Но если там придется гибнуть – это будет всерьез, Ульдемир. И не надо полагаться на то, что кто-то из нас сможет в нужный миг оказаться поблизости и повторить то, что мы уже однажды сделали. Это будет жизнь, Ульдемир, вместе с ее обратной стороной... ну вот, что еще тебе неясно?

– Ты посылаешь нас надолго?

– Не знаю. Когда ты вернешься, будет зависеть от тебя самого. Но если все затянется, ты скорее всего не вернешься совсем. Во всяком случае, если пользоваться твоим исчислением, счет времени пойдет не на годы, Ульдемир. На недели и, возможно, даже на дни.

Они помолчали минуту-другую.

– Ты веришь в судьбу, Мастер?

– Смотря как понимать это слово. Я верю, что Фермер правильно ведет свои дела. И стараюсь поступать так же.

– Кто он, Фермер?

– Человек, – улыбнулся Мастер, – которому я передам от тебя привет.

– Когда мне выходить? И куда? Будет корабль?

– Ты поймешь, когда и как. Будь внутренне готов. Ну вот, мы и составили первое представление друг о друге; очень рад буду увидаться с тобой еще. – Это прозвучало искренне. – Живи, Ульдемир, не уставай жить. – Он повернулся и стремительно зашагал по веранде, обогнул угол дома – и шаги его сразу стихли.

Ульдемир еще немного постоял на том же месте. Да, интересно складываются события, ничего не скажешь... Он медленно, как ходят люди, погруженные в раздумья, приблизился к полоному крыльцу и стал спускаться вниз – туда, где расстился луг с зеленой муравой.

Помедлил на нижней ступеньке крыльца, прежде чем коснуться ногой травы. Зажмурился, глубоко вздохнул, втягивая запах...

## Глава третья

...втягивая запах, тончайший, сложный запах, в котором смешивались: тихий, настойчивый, чем-то схожий с плесенью – бактерицидного пластика, из которого было все: пол, потолок, стены, мебель; и резковатый, тревожный – так пахли холодные бело-голубые нити освещения, не создававшие уюта, а, напротив, вызывавшие ощущение открытости и бесприютности; и душистый, сильный, но не затмевавший остальных аромат цветов, огромных, ярких, какими не бывают цветы в природе – зато эти никогда не надо было менять, а сила запаха автоматически или же вручную регулировалась; и наконец, эманация уже стоявшего на столе завтрака, в свою очередь составная, ежедневно менявшаяся в зависимости от тонуса человека, которому завтрак предназначался. Забавно было каждое утро угадывать, что же окажется на столе на этот раз; сначала он ошибался два раза из трех, теперь в лучшем случае раз из десяти: годы не проходят зря. В старости он наверняка будет угадывать сто раз из ста; а когда однажды ошибется, это будет означать, что организм его вышел на последнюю прямую, ведущую к концу, и необратимые изменения начались. Опекун заметит это раньше, чем сам человек, и естественно: Опекун все замечает раньше и своевременно принимает решения, человек давно перестал жить на ощупь, а также отвлекаться для решения разных мелких проблем, вроде меню сегодняшнего завтрака, цикла утренних упражнений, одежды и прочего. И все же что-то было в этом ежедневном угадывании, какой-то темный азарт, род развлечения. Жаль, что Опекун ни разу не поддался, не включился в игру, не уступил искушению выкинуть на стол что-нибудь такое, что и представить нельзя было бы: скажем, в разгаре лета – что-нибудь из зимнего репертуара, с повышенным содержанием жиров, предположим, или иной, зимней гаммой витаминов. Что ж, тем лучше для него, Опекуна; иначе автоматический постоянный контроль тут же сработал бы, и крамольные блоки немедленно подверглись замене. Однако сколько ни вспоминай, такого не происходило, не слыхано было о таком, и единственное, что грозило Опекуну – это когда подопечный, чье сознание не могло подвергаться столь точному программированию и скрупулезному контролю, как схемы Опекуна, выходил из режима и чем-нибудь тяжелым, или острым, или тем и другим вместе, принимался крушить датчики и провода, и таким способом ненадолго лишал Опекуна возможности выполнять свою задачу. Самому Опекуну это не вредило, его схемы находились, понятно, в Центре, а не здесь, до них было не добраться: они были смонтированы, вместе с Инженером, Политиком и Полководцем, в каких-то, по слухам, подземных цитаделях, в глубине многокилометровых шахт, рядом с которыми располагались, опять-таки по слухам, убежища для Неизвестных; о том, где все это располагалось, можно было лишь делать догадки, и то про себя: следовало постоянно помнить о Враче, что был всегда начеку. Да, итак, разрегулировавшийся опекаемый, обычно человек невысокого уровня, ученый седьмого-восьмого разряда, художник или инженер столь же скромного пошиба, мог нанести такой легко устранимый вред сетям Опекуна; тогда ремонту подвергался уже сам ученый, художник или инженер (с политиками такого не случалось, помнится, еще никогда), его увозили ненадолго, возвращался он умиротворенным, и больше уже с ним ничего такого не происходило. Подобные инциденты, впрочем, не считались чем-то постыдным и никак не влияли на положение человека в обществе и на отношение общества к нему; знали ведь, что винить в происшедшем можно было разве что природу, создавшую человека несовершенным, не как город с продольно-поперечной, логичной планировкой, какие строились по заранее точно разработанным проектам, а как город из тех, что возникали стихийно, без проектов, без единой мысли о перспективе, разрастаясь протяженно во времени и напоминая клубок из обрывков нитей, где иная улица могла дважды пересечь самое себя и выводила в конце концов к собственному началу. Таким был человек, и порой в сложную планировку его сознания приходилось вносить рациональные упрощения, разрушая паутину переулков и прокладывая вместо них широкую

магистраль от Возможности к Желанию, а никак не наоборот. Все это было правильно, рационально, да иначе и быть не могло – так всю жизнь полагал Форам Ро, да и сейчас он тоже так считал.

Впрочем, Форам Ро о таких вещах думал крайне редко: к его работе они отношения не имели, а ко внерабочей жизни – тем менее. Не хочет Опекун ввязываться в игру – его дело... Глубоко вдохнув и выдохнув, Форам вовремя вскочил с постели: еще минута-другая, и лежать стало бы неудобно, неуютно, постель заерзала бы под ним: никогда не следует перележивать, этак и бока пролежишь, ха, не больной же ты, – а если задержишься и еще на минутку, включатся медицинские датчики, вмиг прочешут тебя и скорее всего ты окажешься симулянтом, потому что – кто же болеет в наше время, это надо неизвестно какую жизнь вести, чтобы в твоём организме, при котором неусыпно бдит Опекун, что-то вдруг разладилось до такой даже степени.

Через несколько минут Форам уже стоял на упругом коврике в углу, лицом к экрану. На экране вспыхнуло «17», иными словами, зарядка по семнадцатой программе полагалась сегодня Фораме, не по шестнадцатой и никак не по восемнадцатой. Затем на экране возник крепенький индивид и стал командовать, одновременно приседая, поворачиваясь, подпрыгивая, взмахивая руками. Зазвучали команды, музыка – и неслышным было тихое шипение добавочного кислорода: дозировка его в воздухе в это время изменялась. Потом индивид аннигилировал, экран показал стадион и дорожку, двенадцать парней в мгновенном томлении предстарта; автомат рывкнул – понеслись; одновременно коврик под ногами Форамы дрогнул и побежал назад, бесконечно возникая перед ним из-под пола и скрываясь позади, и он помчался по нему, что было сил – вперед, вперед! – а коврик бежал так, что Форам все время оставался на месте, не приближаясь к экрану ни на сантиметр. Пролетел десяток секунд: сотка – явление скоротечное. Те, на экране, достигли финиша чуть раньше, чем Форам, но и он выложился, и возникшие на экране цифры – показанное им время – его вполне устроили: ничуть не хуже, чем вчера. Пошли упражнения на расслабление, крепенький парень снова возник, профессионально поигрывая бицепсами. Щелк – экран погас, конец зарядке. Пританцовывая, Форам вбежал в душевую – вода со свистом хлестнула, едва он показался на пороге. Он вертелся под душем, пока вода не выключилась. Ай-о! Хорошо. Он распахнул шкафчик. Что там на сегодня? Легкое: тонкие серые брюки, белая рубашка, галстук в красных тонах, носки под цвет, бесшумные пластиковые сандалии, почти невесомая куртка со всеми полагающимися знаками и эмблемами. Это нам идет, мар Форам. В этом мы смотримся. Серое и красное, да еще с белым – наша гамма.

– Спасибо, Опекун! – крикнул он весело и в меру громко. Никто не ответил, конечно, но это вовсе не значило, что его не услышали. Все слышится, все учитывается. И прекрасно: ты уверен, что ни одно твоё движение, физическое и душевное, не пропадет зря. Только так и можно.

Завтрак он и в самом деле угадал, и это еще улучшило и без того светлое настроение. День начался с высокой ноты – вот и хорошо, вот и ладно, славно, пусть и до самого вечера так. Вечером – может быть, все дело как раз в том, что вечером они встретятся с Мин Аликой. «Любовь, – замурлыкал он под нос, а тело на миг напряглось в сладких предвкушениях. – Любовь, любовь – любовь...» Недаром сегодня среда, шестой день недели.

Вот именно среда. И вечер занят, следовательно – игры он не увидит. Той игры, что назначена на вечер. Значит, надо посмотреть ее сейчас. За завтраком. Хотя бы последнюю четверть. Форам дал команду на экране, на возникший вопрос – набрал шифр. С большим трудом выбил он для себя право опережающего просмотра игр. Если бы он не работал в этом институте, да еще на магистральном направлении, локоть бы ему дали, а не разрешение. Вот сейчас он и посмотрит еще не сыгранную (официально) игру. Чуда в этом, понятно, никакого: уровень эмоций всех людей, интересующихся игрой, известен, подсчитан и учтен заранее, в

зависимости от него запланирован и результат игры: такой, чтобы большая часть эмотов осталась довольной, чтобы настроение их еще поднялось; а те эмоты, что стоят за проигравших, пусть понесут ущерб в зависимости от их количества: если их много – разрыв в счете будет небольшим и игра почти равной; если мало – произойдет разгром. Однако количество эмотов на каждой стороне тоже не создается само собой: в случае нужды о команде сразу выбрасывают такую информацию, какая сразу же или привлекает новых сторонников, или, наоборот, отталкивает кого-то из старых. Содержание же этой информации, в свою очередь, зависит от пристрастий кого-то из Неизвестных да и от сегодняшнего настроения общества вообще, а настроение... Одним словом, сложная это работа, в результате которой команды выходят на круг и играют – раз, другой, пятый, пока не получается такой дубль, в котором нужный счет выглядит наиболее правдоподобно. Только тогда объявляется день, в какой игра будет сыграна, и эмоты начинают нетерпеливо поглядывать на свои экраны. А кто обладает разрешением – дай свой шифр и смотри игру хоть за неделю. Смотри, но – помалкивай. Потому что строго запрещены две вещи: играть в то и делиться известным тебе результатом с кем-нибудь другим; официально принято считать, что игра происходит именно тогда, когда ее показывают населению. И если тебя поймают – шифр прощай навеки, и стыда не оберешься, и надолго (если не навсегда) останешься с репутацией человека ненадежного.

А Форам – человек надежный. Мар Форам Ро, ученый шестой величины только, но зато работающий в институте нулевой степени молчания, да еще и в лаборатории нулевой степени, где ненадежным не место.

Он жевал и смотрел на экран. Нет, если уж везет, то во всем. После двух четвертей было уже шесть – два, вели Тигроеды, Красноухие проигрывали, туда им и дорога, пусть и всю жизнь продувают, пусть у них копыя узлом завязываются, пусть их киперу с начала и до конца каждой четверти кольцо кажется жабой, чтобы он от кольца шарахался в страхе, только каждую десятую часть перехватывает, не то ему от своих будет и вовсе не спастись, заколотят, и придется Красноухим на каждую игру выходить с новым кипером, только к ним ведь и не пойдет никто, ни за какие коврижки, дураков нет. Седьмое кольцо! Ай-о! Нет, ну это просто блеск!

А теперь – все. Время.

– Спасибо, Опекун!

Даже неудобно, до чего ликующе получилось. Но игрушка-то какая была! Прямо хоть смотри вечером еще раз, вместе с Мин Аликой. А что, почему бы и нет? Эшамма наххай, как говорят проклятые враги на их гнусной планете, клин им в членоразделие!

Пора. Форам распахнул узкую дверцу в стене. Кабина была уже под током, на белом матовом диске красный сектор все уменьшался. Сюда опаздывать не рекомендуется. Путь кабины рассчитан не по минутам – по секундам: и вниз с яруса, и по боковому руслу; и к магистрали она подойдет в тот самый миг, когда с нею поравняется свободное место в бесконечной череде плывущих мимо кабинок, и она точно займет гнездо, и опять-таки в нужную секунду окажется у перегрузки на поперечную магистраль, сработает автоматика, кабинку мягко перетолкнет с ленты на ленту, и поплывет она дальше – и Форам вылезет из нее в нужную секунду прямо в своей рабочей комнате. А не успеешь сесть дома, минута истечет – и ток вырубится, добираться тогда как знаешь, опоздание не меньше чем на час. Это в нулевую-то лабораторию! С ума сойти!

Впрочем, с Форамой такого не случилось. И не случится.

Сектор превратился в узкую иглу. Резко грянул напоминающий звонок. Это для разгильдяев. А Форам уже – вот он, готов. «Пожалуйста, – пригласил он себя. – Пожалуйста, садись, капитан Ульдемир!»

Кто?

Нет, черт его знает, откуда возникло в голове такое сочетание звуков. Ульдемир? Капитан?

Мар Форам Ро, вот кто он, ученый шестой величины, две совы на воротнике – еще не змеи, конечно, но уж и никакие не дятлы. В его возрасте две совы – неплохо, очень даже. Учитывая, что все – сам, своей головой, никто не тащил и не подталкивал, в автоматику Отбора и Продвижения никто не вмешивался и коэффициентов снисходительности не вводил. Да: мар Форам. Не просто Форам, – это только для друзей, – а именно мар Форам. И никак иначе.

Он устроился поудобнее. Дверца защелкнулась. Езды тридцать семь минут. За это время настроимся на работу. Игра – в сторону, словно ее и не было, и Мин Алики – словно и не будет; тем более, что и она сейчас думает не о тебе, Форам, она – художница девятой величины, три кисточки на воротнике или на груди, если наряд без воротничка (женщины всегда что-нибудь придумают!), три кисточки. До лавровых листочков ей еще пахать и пахать, не говоря уже о ветках, а до хотя бы одного венка на воротнике ей и за всю жизнь не добраться. Но она честно пашет и до самого вечера думать о тебе, мар Форам, а для нее просто Форам, Фо, Фа или Рама (смотря по настроению), не станет. И только так оно должно, и только так может быть. Во всем нужен порядок.

Кабинка дрогнула. Поехали, мар.

Шахта. Узкий туннель: русло. Рокот направляющих. А вот и магистраль. Полоска открытого неба. Верхняя половина кабинки просветлела, сделалась прозрачной, свет выключился: никаких перерасходов энергии. Форам привычно поднял глаза, чтобы убедиться, что над ними, как всегда, второй ярус, эстакада, на которой, невидимые снизу, плывут такие же одиночные кабинки, плывут и одновременно перемещаются в рядах, для чего каждое шестнадцатое гнездо всегда остается свободным для маневра: одним отвлекаться раньше, другим позже, тем вправо, этим влево... Меняются соседние кабинки, в них – разные люди. Иногда – привлекательное женское лицо. Можно прижать к прозрачной стенке карточку с твоими координатами, можно взглянуть умоляюще, просительно сложить руки. Тебе могут, если захотят, ответить такой же карточкой, могут записать в памяти твои данные – тогда головка в соседней кабине кивнет; или отвергнуть – тогда она отрицательно качнется. Хотя Фораме теперь это вроде бы и ни к чему: Алика его устраивала, особь хоть куда. И все же – мало ли что. Развлечение.

Потом он отвлекся, думая о работе. Минуты две рядом держалась кабинка со вполне достойной особью – он не заметил. Работа сегодня предстояла нештучная.

Лишь на скрещении, где его переталкивали в поперечное движение, он поднял голову. Здесь примерно с минуту можно было видеть небо, не перечеркнутое эстакадой.

Небо было высоким, чистым, не очень еще светлым: рано, солнце где-то под горизонтом. Звезды уже пропали, но яркие огоньки, ярче любых звезд, виднелись, строго вытянутые в линию, в шеренгу, быстро продвигавшиеся фронтом. Можно было не считать: тридцать два огонька, не больше и не меньше. Оборот вокруг планеты – за семьдесят минут. За ними, в небольшом отдалении, тридцать два огонька поменьше, тоже шеренгой, каждый словно привязан к бегущему впереди яркому. Перелетели, быстро пересекли небосвод. Через пять минут покажется еще одна шеренга, точно такая же яркая, как эта первая, и за ней тоже будет следовать вторая линия – послабее.

Первые шеренги, огоньки поярче – это бомбоносцы вражеской планеты, той самой, что утрами и вечерами ярко восходит невысоко над горизонтом. Обтекаемые корпуса, начиненные адом. Кружат, непрерывно кружат над милым нашим миром. И ждут команды – неизвестного сигнала, который не перехватить, не отвратить. Тогда все шеренги над всеми меридианами враз наклонят носы и ринутся вниз – рвать, разносить, уничтожать жизнь.

Но на такой случай есть вторые шеренги: огоньки послабее – это уже не их, не вражеские, это наши охотники. Они мгновенно среагируют на любое ускорение своих поднадзорных и в тот же миг налетят, как ястребы на уток, – расклевать в пространстве, воспрепятствовать, не допустить.



Одновременно охотники тоже пошлют сигнал. Неуловимый для других. И сигнал этот примут уже наши бомбоносцы, что кружат над проклятой вражеской планетой. И наклонят носы, и стремительно упадут на тот чертов шар.

Правда, за ними устремятся охотники того мира. И опять: кто – кого.

У бомбоносцев есть средства против охотников. У наших бомбоносцев – против их охотников. Впрочем, у их бомбоносцев тоже есть подобные средства.

Но у наших охотников есть свое средство против их средства. Хотя у их охотников – тоже есть. Против наших.

И так далее.

А до того охотник не может ни там, ни здесь приблизиться к бомбоносцу ни на дюйм: известно, что при малейшей такой попытке бомбоносцы начнут атаку даже без команды своего Стратега, начнут незамедлительно.

Это записано во множестве договоров и соглашений между планетами, враждующими между собой издавна. Причину вражды каждая планета объясняет по-своему. Вражда эта и сдерживается договорами и соглашениями, в которых все записано: и количество разрешенных противным сторонам бомбоносцев, и грузоподъемность их, и разрешенная высота полета, и дистанция между бомбоносцами и преследующими их охотниками, и все прочее. И стороны свято блюдут договоры, иначе – каюк.

Иначе никак нельзя.

Так устроен мир, марширует над обрывом.

Не исключено, конечно, что можно было бы жить и как-то по-другому. Но что толку об этом думать: это не область Форамы Ро. Да и попривыкли все за многие годы к этим красивым, быстро пробегающим по небу огонькам.

Вот они уже за горизонтом.

И солнце взошло. Небо светилось, и следующая группа огоньков проскользнет уже невидимой.

Но пройдет в свое, точно рассчитанное время. Куда ей деваться?

И все-таки хорошо, когда солнце.

\* \* \*

– Ну вот, Фермер, они ушли, – проговорил Мастер. – Шесть человек на две планеты. Самое большее, что мы могли сделать для этих миров, да и для остальных тоже.

– Таковую малость не назовешь непобедимым воинством, – откликнулся Фермер, и в голосе было сомнение. – Каков твой замысел?

– Мне кажется, это единственный возможный путь. То, что я задумал, прямо связано с распространением Перезакония. Оно начнется с распада сверхтяжелых.

– Ты уже говорил, – сказал Фермер, кивнув.

– Сверхтяжелые – это их лаборатории. Но область тяжелых – это уже вооружения. Пока будет страдать наука, беспокойство людей вряд ли станет серьезным. Но стоит им понять, что процесс расширяется и вскоре придет очередь вооружений, как они поймут, что нужно что-то срочно предпринимать. Уничтожить заряды, иначе те начнут рваться сами собой в арсеналах и на стартовых позициях. А как только начнет уничтожаться оружие, миллионы людей поймут, что опасность страшного конца перестала существовать. И вот это-то и будет, Фермер, источником той вспышки Тепла, которая так нужна нам с тобой. Всему миру.

– Не знаю... – покачал головой Фермер. – Те, кто привык аргументировать оружием, пойдут на любые хитрости, чтобы подольше сохранить его. Но природу не перехитришь... Однако прежде всего они должны сообразить, в чем тут дело! Смогут ли они разобраться в таких вещах, как Перезаконие? На такие рубежи наука выходит не сразу, это происходит куда

позже, чем изобретение и производство сверхмощных зарядов. Но и поняв, они еще долго не будут в это верить. А волна не станет ждать. Не получится ли, Мастер, что вместо вспышки Тепла мы получим новый ужасающий всплеск Холода? Что мы будем делать тогда?

– Для того мне и понадобились эмиссары, Фермер, чтобы... Конечно же, там не сразу захотят понять. Но тогда мои люди должны найти способ сделать сведения о подступающей угрозе всеобщим достоянием.

– Апеллировать к народу?

– К народам. Это должно происходить с обеих сторон.

– Как твои эмиссары смогут осуществить такое?

– Не знаю. Никто сейчас не знает. Все зависит от реальных обстоятельств, а предусмотреть их мы не в состоянии. Потому мне и были нужны эмиссары с высокой способностью ориентироваться и решать самостоятельно.

– Ты настолько в них уверен?

– Насколько вообще можно быть уверенным. Я знаю их прошлое.

– У тебя расчет, Мастер? Или скорее азарт?

– Точный расчет, Фермер. Да еще с перспективой.

– Что ты имеешь в виду?

– Говорить пока рано. Как дела на твоей Ферме?

– Много растет. Ощутимо теплеет. И кое-где уже вызревает новый облик мира. Мешают такие вот вспышки Холода. Но с твоей помощью мы в конце концов научим быть людьми тех, кто пока еще не умеет жить по-настоящему...

– Надеюсь вместе с тобой. В итоге без этого миру не обойтись. Он просто не сможет существовать.

\* \* \*

Полуметровой толщины бронированные двери всосались в свои гнезда, отсекая допущенных к непосредственному наблюдению за экспериментом от остального мира. Они остались в небольшой комнате, уставленной экранами, индикаторами, съемочными и регистрирующими камерами, множеством других щупалец разума. Еще одна стена, толще и неприступней, отделяла их от ускорителя. Он уже работал, разгоняя поток частиц. Люди напряженно вглядывались в приборы, каждый в свои. Эксперимент был не первым в серии, и предыдущие проходили удачно. Но была между ними разница: тогда речь шла о получении и сохранении отдельных считанных атомов очередного элемента, на сей раз сверхтяжелого и, как ни странно, достаточно устойчивого в определенных условиях. Самым сложным и было – найти нужные условия; а когда это удалось, перед лабораторией поставили новую задачу: вырабатывать элемент непрерывно, так сказать, поставить на поток, потому что теоретически предсказанные его свойства позволяли надеяться на применение нового вещества в хозяйстве с большой выгодой. Обходилась работа несусветно дорого, но элемент обещал стать великолепным источником энергии для космических аппаратов, где компактность важнее многого прочего, и, возможно, с его помощью можно было бы попытаться наконец выйти за границы привычного пространства; стратегов же, помимо этого, интересовала и способность нового элемента высвобождать нужную энергию (при нарушении условий его содержания) стремительным скачком, и куда больше энергии, надо заметить, чем выделяется ее при синтезе легких, таких, как, скажем, гелий. Поэтому к началу сегодняшнего эксперимента неожиданно прибыли два новых стратега: генерал двух звезд и бригадир первого ранга – оба, впрочем, ученые, достаточно известные в своей области.

Об их приезде никто в институте не был предупрежден заранее; возможно, там, у стратегов, решение об их участии в эксперименте тоже было принято внезапно. Поскольку число

мест в наблюдательном посту, откуда велось управление экспериментом, было ограниченным и допускать туда людей сверх установленного счета не полагалось (хотя бы потому, что им не втиснуться было), двум ученым из лаборатории пришлось остаться на периферии опыта и наблюдать за ходом событий, лишь считывая показания контрольных компьютеров, вместо того чтобы видеть все своими глазами в камерах индикаторов. Обидно; но со стратегами не спорят, именно они ведь держат зонтик, под которым можно спокойно жить и работать.

А одним из тех, кому пришлось остаться, оказался мар Форам Ро. Как ни раздувай горло перед зеркалом, сколько ни мети пол хвостом наедине сам с собой или, по крайности, перед Мин Аликой (не то чтобы очень уж юная, она тем не менее нередко бывала просто-таки по-девичьи наивной), – был он ученым всего лишь шестой величины. Второй оставшийся, мар Цоцонго Буй, был пятой величины – но и ему пришлось экспериментировать по эту сторону двери, хотя, если вникнуть, пятая научная величина была не только не ниже бригадира первого ранга, но даже и чуть повыше и, уж во всяком случае, равна, в то время как шестая с любой позиции все же уступала. В данном случае Форам втихомолку даже порадовался тому, что не он оказался самым обиженным, даже больше: обидели, строго говоря, мара Цоцонго, а Фораму, так сказать, лишь косвенно, не лично, а по логике вещей. Мара же Цоцонго обидели потому, что ученых пятой величины среди экспериментаторов было трое, и двое остались, а ему пришлось выйти. Тем самым ему как бы показали, что он – хуже тех, что было на самом деле, разумеется, вздором; или же имели в виду, что его тема не столь важна? Бред: он-то ведь и занимался средой сохранения нового элемента, единственный в этой хилой лаборатории, где собрались, как всему миру известно, в основном бездари и завистники, нещадно эксплуатирующие чужие мозги, грабящие простодушных и наивных дурачков, вроде Цоцонго Буя и Форамы. Как начинать сомнительную тему – так вытаскивают вперед их: самый первый эксперимент, если вспомнить, они с Форамой проводили вдвоем, Форам разрабатывал элемент, очередной в серии сверхтяжелых, а Цоцонго условия сохранения его стабильности, хотя тогда ни одна собака в такую возможность не верила. А когда в лаборатории запахло грибным соусом, прочих сразу налилпло, словно грязи на сапог, и все – величины, и у каждого – право подписи научных работ, и вот в конце концов тебя выкидывают за дверь полуметровой толщины и ты сидишь, словно прислуга, в прихожей, елозишь штанами по дешевому синтетику диванчика, пока те там, тужась, втискивают свои вонючие имена в анналы науки, да, как прислуга, и для полного сходства остается только принять на душу малый грех из плоской фляжки, закусить рукавом и, достав колоду затрепанных, овальных от долгого употребления карт, сразиться в накидного мудреца по два носа за очко.

Сидели они, впрочем, не в прихожей, а в своей рабочей комнате, и ворчал Цоцонго хотя и не без оснований, но в общем не по делу, так что Форам поддерживать его не стал. Не потому, что не был согласен, да и он сам мог бы сказать что-то в этом роде, но раз уж высказался другой – к чему повторять? Лишнее сотрясение воздуха... Он долгим взглядом посмотрел на коробочку трансляционного динамика на столе; Цоцонго Буй перехватил этот взгляд, моргнул и смолк, а затем, ухмыльнувшись, нашел несколько теплых и похвальных слов о каждом, кто участвовал в эксперименте, а о стратегах – особенно. Потом уселся поосновательнее, извлек и в самом деле колоду – только не карт, а вчерашних фотографий, половину перебрал Фораме, – и оба они погрузились в рабочее молчание. Изредка то один, то другой поднимал глаза к дисплею компьютера, где медленно ползущая кривая показывала, что все большая масса элемента, который, увы, не назовут форамием, а славно было бы, – накапливалась в среде, которую тоже не будут именовать средой Буя, хоть ты тресни, потому что для этого нужно, как минимум, право подписи, а у них, ни у одного, ни у другого, такого права пока что нет, не выслужили, а нет подписи – нет и имени. Ничего не поделаешь, таков порядок, и если вдуматься, он даже неразумен, очень. Иному, конечно, может показаться обидным, что открытие, сделанное им, назовут чужим именем, на самом же деле все правильно. Потому что сейчас еще неизвестно,

что из тебя получится в дальнейшем; открытие ни о чем не говорит – открытие и дурак может сделать, если попадет в нужные условия. Открытие приведет лишь к тому, что тебя заметят, ты попадешь в учетный формуляр. И станешь работать дальше. Пройдут годы, все убедятся, что человек ты не случайный, мало того – ты человек надежный и нормальный, с устойчивой психикой и стабильной работоспособностью, пьешь и гуляешь не больше, чем положено, и именно там, тогда и так, как полагается; вот тут-то ты и получишь право подписи, иными словами – право ставить свое имя на трудах и открытиях. Может быть, конечно, к тому времени открытия и прочие успехи у тебя уже получаться не будут; чаще всего оно так и бывает. Но это никакая не беда: будут молодые, из которых открытия станут сыпаться, а до права подписи им останется еще дальше, чем тебе сейчас, – и на их открытиях будет стоять уже твое имя, иными словами, долг тебе вернут. Так что все обосновано, все справедливо, придумали это люди поумнее нас, и нечего попусту расходовать фосфор и адреналин. А надо работать, вот хотя бы в данном случае – просматривать фотографии.

Настало незаметно время обеда, и они пошли наверх, в столовую, не без тайного (хотя и стыдного) злорадства по поводу тех, кто все еще никнет в глухой и душноватой (порой барахлила вентиляция) комнатке, голодные и злые. Захотели эксперимента – вот вам эксперимент, а мы тем временем поправим наше расшатавшееся с утра здоровье...

Неизвестно, как со здоровьем, но настроение обоих обиженных после обеда поднялось, хотя кто-то там и пытался поострить на тему, что нулевая, мол, лаборатория принимает калории через наиболее заслуженных своих представителей. Цоцонго с Форамой только тайно улыбались. Под конец, отложив салфетку, Цоцонго сказал:

– Совсем было я решил уходить после этого свинства. Но, пожалуй, еще подожду. Любопытно все-таки.

Сытому Фораме думать не хотелось, и он сказал то, что лежало на поверхности:

– Так тебя и выпустили сразу с нулевого уровня. Да и где лучше?

Где лучше – это была действительно проблема. В их институте, и в особенности в их лаборатории, на кого бы ты там ни работал, мысли твои шли в дело, получали практическую реализацию. В других же местах, куда стратеги почти или вовсе не заглядывали, разработки отправлялись чаще всего в архив, в надежде на то, что когда-нибудь что-нибудь этакое кому-то понадобится: если исследованиями занимаются десятки миллионов человек на планете, то все, конечно, не реализуешь, вот и работаешь в стол – в надежде на будущее, а доживешь ли ты до этого будущего, даже змей не знает. Нет, уходить из института – не дело. Другого такого богатого Фонда, пожалуй, и не найдешь. Фораме, во всяком случае, об уходе и думать не собирался. Потому что все устроено разумно, и пусть новый элемент форамием и не назовут, но уж третья сова мимо его воротника не пролетит, и пятую величину он получит, а Цоцонго – трудно сказать, он не так уж давно носит три совы, срок еще не вышел. Но и он свое обретет – хотя бы благами мирскими. Так что зря он булькает.

– Ты давай-ка, побереги нервы, мар, – сказал Фораме, поднимаясь. – Те двое пятых – они же вешие, как же было без них обойтись? Ты лучше скажи: у тебя шифр на предварительный просмотр есть уже?

– В пределах суток.

– Вот, теперь получишь – за двое суток до. Смотрел нынче?

– Не утерпел. Ну, что скажешь, а?

– Какой разговор! Классно их пригладили!

Подробнее обсуждать результат игры, для всех остальных здесь еще только предстоящей, они не стали: ушей кругом – миллион. Спустились к себе и опять уткнулись в снимки. Эксперимент все еще продолжался. Решили, наверное, догнать массу до круглого числа, до подкритической. Ну, их дело. Прошел еще час, полтора...

– Фораме!

– Аюшки?

– Ты на распады обращаешь внимание?

Полураспад у нефорамия (так они, не без иронии, называли между собой никак еще не нареченный элемент) измерялся столетиями, но какие-то из синтезированных атомов, естественно, взрывались уже сейчас, и на снимках это фиксировалось.

– Само собой. А что?

– Или у меня в голове искривление пространства, или... У нас еще час времени; давай-ка заглянем в позавчерашние материалы.

– Зачем?

– Скажу.

Он вытащил из шкафа несколько сот снимков, лежавших в хронологическом порядке. Перебирая, стали сравнивать.

– Видишь? Раз, пусто, пусто, пусто... Теперь вчерашние: раз, раз, пусто, раз. Это уже не вероятностный разброс, а?

– Что же по-твоему: ускорение распада? И в таком темпе?

– Смотрим, смотрим дальше!

Они перебрали все снимки.

– Видишь? Тенденция не только сохраняется, но впечатление такое, что вчера к вечеру распад стал сильнее, вчера утром чуть ослаб, а потом снова стал нарастать – все больше и больше.

– Интересно... А качества среды не могут меняться с такой периодичностью?

– Ну что ты! Среда абсолютно стабильна, за это я ручаюсь.

– Может быть, колеблется уровень питания и потому среда варьирует?

– Проверим. Хотя вряд ли: у нас же своя силовая установка. Но посмотрим.

Посмотрели ленту записи параметров питания. Нет, все в порядке, ровная, идеальная площадка.

– Давай-ка запустим в машину, пусть даст точную зависимость распада от времени, коэффициент нарастания, уменьшения... – Форама подошел к пульту, но тут же вернулся. – Там все застолблено до утра. Если «весьма срочно», то можно было бы еще успеть до шабаша.

– Кто же, помимо шефа, даст «весьма срочно»?

Они поглядели в сторону двери. Шеф был в эксперименте, естественно: может быть, его-то имя и наклеят на новый элемент, тут волей-неволей полезешь в наблюдательную. Рискнуть от его имени? Самоволия старик не одобряет. Весьма чувствителен к своим прерогативам.

– Да ладно, – сказал Цоцонго, – не так уж и горит. Просто интересно. Ну, досмотрим до конца: что было вечером и ночью.

Ночные снимки показали некоторое ослабление – однако не до того уровня, какой был прошлой ночью. А сегодняшних утренних снимков здесь еще не было. И не будет, пока эксперимент не завершится.

– Они там что, решили до утра сидеть?

– Дело хозяйское, – Форама пожал плечами. – Я, например, не намерен. – Он усмехнулся. – Меня ждут.

– А-а... Ну, желаю успеха.

– А ты?

– Да тоже поеду. Спать. Вчера пересидели, играли в «мост». Заеду отсюда на корт, постукаю по мячику и – до утра.

– Поспи и за меня.

– Мне и самому-то не хватает.

– Злобный человек, – сказал Форама, – мар Цоцонго Буй.

Приглушенный звук гонга донесся по трансляции. Еще один день прошел. Так вот они и будут идти до самого конца, когда после очередного тестирования тебе скажут: «Мар Форам...», нет, тогда уже даже «Го-мар Форам, ваши заслуги велики и неоспоримы, и дорожа бесценным вашим здоровьем, нуждающимся в некоторой поправке, мы считаем грустным для всех нас долгом...» И так далее.

Что тогда останется? Мин Алика? Если она – или любая другая особь иного пола – еще будет интересовать его. И предварительный просмотр игр – если только право это не отберут вместе с институтским шифром.

Но это когда еще будет...

– Моя кабина! Удачи!

– Удачи, Форам!

Координаты Мин Алики уже заложены в маршрутник. Отмечены на нем и два заезда по пути: за цветами и за кое-какими вкуснотами, какие Мин Алике по скромности ее положения в обществе еще не полагались, но до которых она была охоча не менее, а то и более, чем какая-нибудь дама с тремя венками на том месте, где полагается быть груди, – дама, вкуснот уже не потребляющая по причине диеты и сохранения воображаемой линии. Можно было бы, конечно, привезти ей и что-нибудь из косметики – шестого, как-никак, а не девятого разряда. Ладно, это – в другой раз.

Щелк, кабина. В путь! Форам даже оглядываться не стал на стену, за которой все еще выгоняли задуманное количество его элемента. Пусть живут до завтра без него. Всему свое время.

Форам ехал к Мике – так он называл ее для краткости и ласкательности, – не очень задумываясь и о ней самой, и о характере их отношений, и о будущем – если только оно было для них обоих совместным. Отношения их он и для себя, и для всех прочих называл любовью: хорошее слово, благородное, литературное, как бы отвергающее все, что выходит за рамки приличий. Познакомились они случайно – ехали в соседних кабинках, так оно чаще всего и случается; когда сходились – был интерес, потом осталось удовольствие: и чувственное – была она хороша собой и все как надо, и вроде бы духовное: когда Форам не думал о работе или игре, то думал о Мике, вспоминал последнюю встречу и предвкушал будущую. Надо ведь, чтобы был кто-то, о ком можно думать и даже – в какой-то мере – заботиться. Была Мика не очень требовательной, радовалась каждой мелочи, чему он хотел – покорялась, вела себя тихо, спокойно, уравновешенно. Короче – лучшего и желать нечего. Повезло ему.

Может быть, это и была любовь. Только он знал четко: если Мики завтра у него не станет – переживет спокойно и обойдется. Мало ли что может случиться: найдет она другого, кто больше понравится, или переведут ее куда-нибудь к антиподам, или еще что-нибудь, в жизни все бывает. Да, переживет.

Это-то и хорошо было: нежность к ней он испытывал, и потребность в ней, как в женщине, тоже имелась – и в то же время оставался он независимым от нее, от самого ее существования.

Он не думал, как порой думают, что это – временное, не настоящее, что вот однажды грянет гром – и появится некая царица фей, настоящая избранница. Что думать попусту? Может быть, Мика и есть та самая царица фей, а остальное все – сочинительство, вымысел. А если даже и нет, то все равно сейчас нечего размышлять. Появится что-нибудь похожее – тогда и станем думать.

В таком случае, полагал он, Мика отойдет в сторону. Уйдет тихо, без упреков, не пытаясь удержать. Ну, поплачет вечером одна – и успокоится. Смирится. А потом найдет другого. Молода еще, красива, в меру деловита, и в ее возрасте девятая величина котируется: считается, что все еще впереди.

Хорошо, когда все в жизни разумно, дорогой мар Форам!

\* \* \*

Когда он вышел из кабинки в ее комнату, Мин Алика встретила его как всегда – радостно, как бы снова, в который уже раз, приятно удивленная тем, что он есть и что снова – с нею. Всплеснула руками, увидев цветы, и правильно сделала: цветы были хоть и не живые (таких ему не полагалось еще), но из разряда квазиживых – белковые, а не пластиковые. Он выгрузил на стол коробочки с лакомствами, потер руки и подмигнул ей, а она звонко расхохоталась, как будто это было уж и не знаю как остроумно.

Она сварила привезенный им кофе – почти на треть порошок был натуральным – с пряностями, которые хранились у нее неизвестно с каких времен и неведомо как к ней попали, уж никак не ее величина это была; она об этом не распространялась, а он не спрашивал: у каждого есть прошлое, не хочешь делиться – не надо, независимость всегда заслуживает уважения. Он тем временем поставил музыку, смотреть игру второй раз ему расхотелось: все-таки присутствие Мин Алики возбуждало его больше, чем ему казалось, когда ее рядом не было. Ужинали медленно, не спеша, получая удовольствие от вкуса. Закончив – посидели, пока играла музыка, потом даже немного изобразили танец – только изобразили, стоя на месте, потому что развернуться тут негде было, все рассчитано точно, такова современная архитектура, чей девиз – скромность и целесообразность. Когда музыка утихла, Форам глянул на женщину в упор, улыбаясь глазами. И Мика, как всегда бывало, с самого первого вечера, опустила глаза, чуть покраснела и встала. Это Фораме нравилось. Скромность украшает. И послушание – тоже.

Мика прежде всего убрала посуду (порядок должен быть, да иначе и не приготовиться было ко сну), потом Опекун сам убрал столик в переборку и выдвинул ложе: Опекун признавал все естественное, любовь тоже. Мика неспешно разделась, аккуратно складывая каждую вещицу. Легла, готовая принимать ласку и сама ласкать в ответ. Он не заставил себя ждать, разделся так же аккуратно. Произошло. Мика поднялась и направилась в душ. Пришла освеженная, тогда пошел он. Вернувшись, снова лег с нею рядом. Чувствовалась приятная усталость – легкая, вечер ведь еще не кончен; на душе было очень спокойно, без лишних эмоций – хорошо, одним словом. Форам провел рукой по ее плечу, теплому, гладкому, покато. Приподнявшись на ладони, заглянул в глаза – бездумные, спокойные, и знал, что и у него самого глаза сейчас спокойные, сытые, довольные. Нет, это очень хорошо придумано – дважды в неделю полежать так вот рядом с женщиной, беззаботно, естественно...

И вдруг он снова приподнялся на локте – рывком, словно укололо что-то. Странная тревога, глубокая и острая, вошла, повернулась под сердцем. Он схватил Мин Алику за плечи, приблизил взгляд к ее глазам:

– Мика! Мика!

– Что, милый?

Она смотрела на него по-прежнему безмятежно – но не долее секунды; потом и в ее глазах вспыхнуло что-то, насторожилось, напряглось, завертелось...

– Мика!

– Фа!

Они не знали, что еще сказать, – мыслей не было, только ощущение непонятной, необъяснимой тревоги, чувство стремительного падения куда-то, – но может быть, то был взлет!

– Мика! Мика-а!

– Да. Я. Я. Это я... – Она умолкла на миг, и вдруг, словно не своими губами, как бы из глубины памяти всплыло что-то страшно давнее, почти забытое: – Не бойся! Все будет хорошо...

Он обнял ее, обхватил, прижимая, втискивая в себя. И она обхватила его руками неожиданно сильно; грудь – в грудь, глаза – в глаза, и непонятно, ничего не понятно, это не она, и это не я... Что-то происходит в мире...



– Слушай! Я... я люблю тебя!

– И я люблю тебя. Никогда не думала... Не знала...

– И я не знал. Как мы раньше? Как?.. Прости...

– И ты прости... Я думала, это так, знаешь... Ты – спокойный, удобный, не жадный...

А я люблю тебя, оказалось...

– А я! А я!

Несуразные какие-то слова, шепотом, секретно, из губ в ухо, щека к щеке. А ведь только что все было так спокойно...

\* \* \*

Спокойно было, никто не мешал, ускоритель действовал прекрасно, все приборы – тоже, и экспериментаторы, время от времени обмениваясь короткими замечаниями, вытирая пот и поглаживая голодные животы, за девять с лишним часов насинтезировали чуть ли не кубик нового сверхтяжелого элемента, доказав тем самым, что возможно и его производство в промышленных условиях, где оно, несомненно, обойдется значительно дешевле. Работа шла к концу, и они собирались уже прекратить.

Никто из них не знал, и никто на целой планете не знал, и на вражеской планете тоже никто – о выплеске Перезакония. Это не их физика, до нее им еще далеко было, требовалась, самое малое, еще одна мыслительная революция.

А первые щупальца волны уже шарили по их планетной системе, и одно из них неизбежно должно было задеть этот мир. И задело.

Никто, ни один астроном и ни один прибор, ничего не заметил и не зарегистрировал. Потому что, строго говоря, нечего было и замечать: Перезаконие – субстанция не вещественная, даже не поле, а всего лишь определенное изменение свойств пространства. А со свойствами пространства связаны и действующие в нем законы, по которым строится и изменяется мир, в том числе законы фундаментальные. По сути, закон природы – это описание поведения материи в пространстве, обладающем данными свойствами. И пока свойства его не меняются, закон остается справедливым, и можно даже представить, что он вечен.

Однако стоит свойствам пространства измениться...

Да разве такое возможно?

Лучше спросить: да разве могут они не меняться, эти свойства, когда все сущее находится в непрестанном движении и развитии? Не только могут – неизбежно должны меняться. Или – под влиянием каких-то иных сил, о которых мы пока подробнее не будем.

И меняются свойства скорее скачкообразно, чем постепенно, подобно тому, как скачком переходит вещество из одного агрегатного состояния в другое. Вода в лед, например.

Приблизительное, конечно, сравнение, и все же...

Перезаконие, о котором тут говорится (таким словом точнее всего будет выразить понятие, которым пользовались Фермер и Мастер, представители высоких, много знающих и могущих цивилизаций), есть всего лишь изменение определенных законов природы в связи с изменением свойств данного пространства.

Это было частное Перезаконие, и касалось оно – в первых своих волнах – лишь одного: условий существования атомов сверхтяжелых элементов. Потому что законы, по которым взаимодействуют частицы, точно так же зависят от свойств и качеств пространства, как и все остальные. И сверхтяжелые стали распадаться. Как если бы кусочек льда попал в горячую печь.

И первым распался самый тяжелый – именно тот, синтезом которого так не ко времени занималась нулевая лаборатория в нулевом институте.

Трудно сказать, сколько было элемента – много или мало. Смотря для чего. Планета в целом этого факта даже не заметила.

Но для института его оказалось предостаточно.

Грянуло. Испарилась камера, в которой накапливался новый элемент. Как не бывало мощных стен: бетон – вдребезги. Осели перебитые перекрытия. Содрогнулась земля. Покосились эстакады в окружающем районе. Кровля рухнула вниз.

Ускоритель, приборы, записи, люди – в пепел.

Хорошо, что было уже поздно и в институте и вокруг него людей почти не было. Кроме, конечно, самих экспериментаторов.

Тревоги, сигналы, сообщения, звонки, запросы, расследования – тут же, немедленно: дело нешуточное. Какие уж тут шутки. Неверный расчет? Диверсия? Еще что-нибудь? Кто виноват? С кого спросить? Найти! Не-мед-лен-но!

Найдут. Хоть на дне морском.

\* \* \*

Впервые за время их знакомства, за два года с лишним, Форам не поехал на ночь домой, хотя раньше наступал час – и все у Мики начинало казаться ему чужим, неудобным, стесняло, вызывало досаду, происходившую, наверное, от ощущения, что все, что хотел, он тут сделал, и пора отложить это в сторону, словно опустошенную тарелку, – отложить до следующего раза. Точно так же не приходило ему в голову заночевать в лаборатории – если, конечно, того не требовала работа.

Но сейчас он о доме не то чтобы не думал, но странным казалось ему, что он вдруг оторвется от внезапно открывшегося ему родного и необходимого, чтобы замкнуться в (так теперь понималось) душевном неуюте одиночества, до сей поры его вполне устраивавшего. Форам даже не сказал Алике, что не поедет к себе, и она его не спрашивала: все и так было ясно, те двое, что еще существовали, когда Форам несколько часов назад появился на пороге, – те двое исчезли, и возникло одно, хотя и двойное, двуединое – как электрон (подумал Форам), обладающий как бы взаимоисключающими друг друга качествами, но живущий устойчиво, несмотря на – или, может быть, именно благодаря этому. Они так и не вставали больше с постели, разве что воды напиться, безвкусной, примет не имеющей, но и безвредной зато водопроводной жидкости – и говорили, говорили, словами, а то и без слов: взглядом, улыбкой, слабым движением головы, кончиками пальцев. Все остальное ушло далеко, и Форам, например, не подумал даже, как будет он наутро добираться до работы по чужим каналам, где для его кабинки не предусмотрено гнезд в графике движения; не позаботился он заказать с вечера резервное гнездо (что было в принципе возможно) и не настроился на ранний подъем – если бы выехать часа на два раньше обычного, когда линии еще свободны, он добрался бы до института без особых затруднений, но тогда надо было соответственно настроить кабинку, прежде чем отпускать ее. Все это даже не появилось в мыслях, потому что понятия «завтра» не возникало, а было лишь всеобъемлющее «сейчас», и в нем заключалась вся жизнь и весь ее смысл.

Так они и забылись, тесно рядом, и от чужого тела исходило теперь не ощущение помехи, как оно непременно было бы раньше, потому что у обоих за годы одиночества выработалась привычка спать по диагонали даже на очень широком ложе, но ощущение спокойствия, уюта, близости, счастья. Они были сейчас – одно и захлебнулись сном, когда уже не различить было, где что и – чье.

А когда они открыли глаза, вокруг находились чужие люди, и стояли, и смотрели на них, обнаженных и тесных, смотрели без любопытства или сочувствия, или осуждения, или зависти; смотрели деловито. Ни возмутиться, ни хотя бы удивиться всерьез любовники не успели; им тут же было сказано, что – срочно, важно, а подробности будут потом. Фораме велели одеться; он не протестовал, потому что в зажженном свете разглядел уже на воротничках сердечки (червонной мастью звали этих ребят в просторечии), так что протесты оказались бы ни к чему,

во вред только. В голове мелькали по две дюжины кадров в секунду, спонтанные догадки о возможных причинах столь необычного для порядочного человека вызова; нет, не было на Фораме грехов, не то что сознательных – об этом и речи нет, – но даже и случайных, произвольных; у него за последний год даже ни одного знакомого не появилось, в барах и локалах он не бывал, в компаниях тоже, характер у него был не очень общительный, ему с самим собою было хорошо и весело. Так что разболтать он ничего не мог, об остальном говорить не стоило... Пока это мелькало, и он в таком темпе приходил к выводу, что причина может быть связана только с институтом, – но тогда к чему червонные? – он, выполняя вежливое приглашение, попытался было встать, но не смог – Мин Алика не пускала, обхватила руками и ногами, забыв или не желая помнить, что была нагой перед полудюжиной посторонних, здоровых мужиков в соку, – обхватила, приросла, затихла. Может быть, блеснуло у нее в голове, что это – служба нравов, но тут она вины не ощущала: находились они дома, наедине, оба свободны, наркотиков не употребляли, денежных отношений между ними не было, служебных тоже – никакая мораль не преступалась, даже с полицейской точки зрения... Форам понимал, что медлить не следует, однако не стал отрывать ее от себя резко, но нежно попросил отпустить его, потому что все это – бред собачий и недоразумение и что за час-другой все выяснится и образуется. Да он и был уверен, что иначе просто не может стать.

Люди с сердечками не стали грубо торопить его, видя, что он и сам все понимает и зря тянуть волюнку не будет, ибо это лишь себе во вред. Они даже отвернулись от ложа и лежавших, бегло оглядывая стены, засматривая в шкафчики, один вышел в душ и вскоре возвратился с пустыми руками, другой осмотрел одежду Форамы и, не стесняясь, женскую тоже, аккуратно сложенную Микой вчера. Мин Алика дышала рывками, а Форам, нашептывая, целовал и гладил ее, кое-как натянув поверх простыню, и наконец, повинувшись успокоительным звукам его голоса, женщина расслабилась, и он сразу же поднялся, накрыл ее одеялом, тут же кивнул ожидавшим и прошел в душ. Чувствовал он себя почти бодро: осмотр, учиненный червонными, был поверхностным, не специальным, какие проводятся по особому указанию, а сопровождающим, профилактическим, для какого ни указаний, но даже причины не требовалось. Значит, и на самом деле пустяки какие-нибудь.

Перед уходом он еще поцеловал ее – Мин Алика все лежала, без слов, без звука, лишь как-то странно содрогаясь всем телом, – и пробормотал: «Позвоню, как только выяснится. Ты сейчас же, как встанешь, сообщи на всякий случай моему законнику», – и успел записать координаты законника прямо на стенке; ему не препятствовали, он был в своем праве, лишь один из пришедших, старший, судя по трем сердечкам на воротнике, мельком просмотрел то, что написал Форам, потом глянул на часы на стене и потом на свои, на запястье. Они вышли, и лишь вдогонку им прозвучали первые за все время слова Мин Алики: «Не бойся, все будет хорошо», – сказала она четко, без призыва слез или ужаса, и Форам успел оглянуться, улыбнуться, насколько хватило сил, и кивнуть.

Таким способом решила для него транспортная проблема: червонные не пользовались линейным транспортом, в их распоряжении находился воздух. Лодка ждала на крыше. Дома, линии, эстакады, еще пустые, промелькнули внизу в предутренних сумерках, высоко вверху проскользили очередные тридцать два огонька, и еще столько же за ними, – все покосилось на них равнодушно, зрелище было привычным, а все же каждый раз что-то заставляло поднять голову и хоть мельком, но увидеть; жило, видимо, в подсознании понимание того, что когда-нибудь огоньки эти могут оказаться последним, что ты увидишь в жизни... Форам не гадал, куда везут, знал, что вряд ли угадает, чего же зря терзать себя, привезут – скажут, сейчас важно одно: ничему не удивляться, не спрашивать и не возражать, иначе может возникнуть неблагоприятное впечатление, ибо кто не знает за собой вины, тот и не возражает, ерепенится лишь тот, у кого рыльце в пушку. Поэтому Форам думал сейчас только об Алике, жалел ее, оглушенную таким завершением их первой любовной ночи, первой – потому что два года до того

в счет не шли; жалел и представлял сейчас каждое ее движение и каждый взгляд так четко и неоспоримо, словно сам стоял рядом и видел ее, и сжимал зубы от томления и бессилия... Тем временем ровно нарезанные кварталы промелькнули внизу, и вот лодка повисла над чем-то непонятным. Словно странный цветок раскрыл внизу свои неровные, грязно-черные со ржавыми подпалинами лепестки. Не сразу понял Форам (шесть пар глаз впились в него в этот миг), что это был их институт, но не нормальный, каким выглядел он на снимках и рисунках, а нелепо искалеченный, обезжизненный, словно кто-то сверхсильный неумоимо буйствовал внизу и разодрал корпус вверх и в стороны. Так оно и было, но Фораме знать это было неоткуда, и лицо его застыло в удивленном ужасе, прикинув к окошку снижавшейся лодки, потом глаза на мгновение оторвались от развалин, обошли медленно, словно в поисках разгадки, всех шестерых – те глядели сурово – и снова приковались к искореженному бетону, от которого еще поднимался тонкий и холодный дым.

Лодка села прямо в развалинах, все вылезли из нее и пошли тесной группой, окружив Фораму, но, впрочем, никак не стесняя его движений. Шли перекосившимися, полуобрушенными коридорами, светя фонариками, перелезая через завалы, где глыбы бетона с торчащими, разорванными, словно паутина, прутьями арматуры были перемешаны с обломками мебели, приборов, битым стеклом, обугленными тряпками, в какие превратились ковры, гардины, чехлы, спецодежда, оставленная работавшими. Перебираться было трудно, местами – рискованно, шестеро помогали друг другу, в опасных местах оберегали Фораму – и все без слова, беззвучно. Спускались с этажа на этаж по лестницам, иногда висевшим на нескольких уцелевших прутьях; Форам лишь вздыхал, сокрушенно и недоуменно, но истина уже начала брезжить перед ним, и когда они вошли в относительно уцелевшее, усыпанное только хрусткими осколками стекла помещение в самом низу, на ярус ниже бывшей их лаборатории, он, кажется, почти сообразил уже, что такое произошло или, во всяком случае, могло здесь произойти, – хотя все, что он знал и мог предполагать, не давало никаких оснований думать, что это должно было произойти. И он в нетерпении все убыстрял шаг.

\* \* \*

Люди, поспевшие сюда до них, не томились в ожидании Форамы и не выглядели уже раздавленными происшедшим, хотя в первые минуты пребывания здесь наверняка именно такими и были. Они, разместившись кое-как вокруг нескольких железных верстаков (в соседнем помещении находилась мастерская), переговаривались вполголоса, как при покойнике; покойником был институт. Пощелкивали счетчики, показывая, что уровень радиации, хотя по сравнению с нормами и повышенный, оставался все еще относительно безопасным для людей; сверхтяжелый элемент распадался чисто. Слышались тут и другие звуки, ранее в институте не воспринимавшиеся, звуки улицы: рокот линий за квартал отсюда, приглушенное щелканье переходов, неожиданно четкие голоса редких в этот час прохожих, переговаривавшихся с солдатами оцепления. Обнаружив, что за ночь привычное, соседствовавшее с ними, изменилось не к лучшему, люди связывали теперь открывшуюся им картину с ночным толчком и грохотом, которые большинство восприняло с испугом, быстро миновавшим, так как толчки не повторялись, а на экране в это время была игра, и отвлекаться не оставалось времени. Кроме того, обширная территория вокруг института, засаженная деревьями, пригасила звук... Различался в теперешнем слуховом фоне и голос механизмов, уже доставленных сюда и принявших осторожно разгребать и растаскивать обломки, так что переговаривавшимся в уцелевшем помещении людям пришлось поближе наклониться друг к другу, чтобы слова долетали. Все сошлись теснее и сдвинули головы, кроме Цоцонго Буя, сидевшего поодаль и не участвовавшего в разговоре. И потому, что он держался особняком и молчал, а остальные беседовали, возникало впечатление, что он был подсудимым, а остальные – судьями, и сейчас обсуждался

вердикт. Форама, завидев коллегу, тотчас же двинулся к нему, обойдя сваленные в кучу, привезенные, но никем не надетые антирадиационные костюмы; подошел, и они обменялись кивками. Форама взглядом спросил, Цоцонго пожал плечами, кожа его лица, чуть вспотевшего, отсвечивала в несильном свете аккумуляторных ламп, смешивавшимися с крепнущим светом дня, пробивающимся в проломы. Форама уселся рядом с Цоцонго, и теперь «обвиняемых» стало уже двое. Форама оглядел остальных. Тут были ученые – руководство института и кто-то сверху, из материнской организации; были стратеги и были вещице – все незнакомые, крупных величин. Те, что сопровождали Фораму, к начальству близко не подошли, и их словно бы и совсем не стало видно.

Обвиняемым, или кем тут они были, кивнули, приглашая присоединиться к остальным; кивнули не то чтобы очень дружелюбно, но и не враждебно – коротко, по-деловому. После краткого колебания Цоцонго и Форама поднялись, и разговор стал общим, опять-таки не резкий, а деловой разговор, без обвинений и оправданий. Интерес и цель, как сразу было сказано, тут у всех одни: понять, что же случилось, установить – как и почему. Для этого важно все, любая мелочь, самая, казалось бы, незначительная. Мар Цоцонго, почему на этот раз вы не приняли непосредственного участия в опыте? А вы, мар Форама? Странно, что от вашего присутствия отказались в самый решающий момент: вы же стояли, так сказать, у колыбели?.. Это понятно, что были два человека сверх установленного числа, странно только, что именно вас... Это неубедительно: кто бы стал в такой обстановке мыслить категориями чинов и званий? Вероятно, у руководства лабораторией были и другие мотивы, во всяком случае, в тот момент? Как всем ясно, спросить их об этом мы, увы, не можем, но постараемся установить по каким-то косвенным признакам, по самой логике событий. Нет, никто ни в чем никого не подозревает, и вас в том числе; однако истина ведь должна быть установлена, не так ли? Институт погиб, погибли люди, важнейшие данные, ценный материал, и тут, мар Цоцонго, уже не до мелких обид. Очень хорошо, что вы это понимаете: а вы, мар Форама? Тоже. Итак, что у нас есть? По каким-то причинам, которые пока будем считать не вполне установленными, вы оба не приняли непосредственного участия в заключительной стадии эксперимента. А в подготовке его участвовали? Конечно. Скажите, а не могло ли – не забудьте только, речь не о вас, мы обращаемся к вам скорее как к экспертам, к людям, более сведущим, чем любой другой; итак, не могло ли в процессе подготовки произойти – или скажем лучше: не могло ли быть допущено нечто такое, что потом привело ко взрыву? Мало ли: недосмотр, небрежность, невнимательность кого-то из готовивших, не обязательно умысел, нет, не обязательно мина замедленного действия – почему вы решили, что мы не способны мыслить иными категориями? Вы спрашиваете, каков характер взрыва? Не было ничего такого, что могло бы взорваться? Видите ли, как раз это нас и интересует, но пока нет никакой ясности. Вот почему мы и хотим представить: не могло ли что-нибудь – скажем, небольшой иницирующий взрыв – привести к гораздо более сильному взрыву, связанному с экспериментом? Так, мы особо отметим это: вы полагаете, что сам элемент в условиях, в которых он находился во время эксперимента, никак не мог стать источником взрыва? Давайте разберемся более детально. Он что, вообще не способен взрываться, этот элемент? Не беспокойтесь, все, здесь присутствующие, имеют право на полную информацию... Да-да, я имею в виду ту самую цепную реакцию, о которой вы говорите. А почему вы так уверены, что критическая масса далеко не могла быть достигнута? Да, теория, разумеется, заслуживает всяческого уважения, но не бывает ли, что практика опровергает... Невозможно? Прекрасно; мы отметим это. Ну а не могло ли быть так, что производство элемента вдруг ускорилося? Я имею в виду, что по вашим расчетам в единицу времени должно быть получено такое-то количество, а на самом деле выход оказывается значительно большим? Они постоянно контролировали накопление элемента? Ну а если они, допустим, увлеклись или были отвлечены чем-то другим? Не представляете? Откровенно говоря, я в это тоже не очень верю. А, вот это очень важно: вы полагаете, что если бы цепная реакция вдруг началась в том объеме элемента, который должен

был накопиться к концу работы, то взрыв оказался бы слабее? Очень важное замечание. А что, элемент может взрываться только таким, строго определенным образом? Да, да, распадаться. А других вариантов нет – с более значительным выделением энергии? Как вы сказали – могли бы быть, если бы прекратили свое действие законы природы? Я рад, что чувство юмора вам не изменяет, и мы тоже надеемся, что все законы продолжают действовать – и законы природы в том числе. Итак, если встать на вашу точку зрения – а вы, мар Цоцонго и мар Форам, среди нас – единственные подлинные специалисты во всем, что касается подозреваемого элемента, – то мы должны признать, что получаемый в процессе работы элемент, по данным теории и накопленного к нынешнему дню опыта, не мог стать причиной и источником взрыва, тем более взрыва такой мощности, какой на самом деле произошел. При этом умысел со стороны кого-либо из людей, причастных к эксперименту, вы отрицаете, а что касается небрежности, то не можете представить, в чем она могла бы заключаться и как проявиться, я вас правильно понял? Чудесно. В таком случае, давайте подумаем, проанализируем вместе. Квалифицированными специалистами неопровержимо установлено, что взрыв произошел в той точке института, где находилась камера с так называемой средой стабильности – той самой, над которой работали вы, мар Цоцонго, если не ошибаюсь? Именно там накапливался элемент. Допустим, что в определении центра взрыва можно было ошибиться на метр, полтора. В этом объеме находится лишь то помещение, в котором люди наблюдали за ходом эксперимента. Следовательно, если взорвался не элемент в камере, то источником взрыва послужило что-то другое, находившееся в наблюдательном помещении. Ну а что вообще там могло взорваться – как из того, что входило в условия самого эксперимента и обязательно должно было там находиться, так и из того, что могло быть принесено туда лицом, о котором мы пока ничего конкретного не знаем? Вот уважаемые ученые высших величин считают, что и ускоритель, и вся прочая машинерия и аппаратура эксперимента никакой взрывоопасности не представляли. А как полагаете вы? Прекрасно, итак в этой части – полное единомыслие. Что вы думаете об исходных продуктах опыта? И с этой стороны, следовательно, опасность не грозила. Ну а промежуточные и конечные продукты? Не кажется ли вам, что искать нужно именно здесь? Потому что судите сами: если бы произошел, скажем, пробой изоляции, он привел бы к замыканию в цепи энергообеспечения, и мы отделались бы перерывом в ходе работы, ну пусть выходом из строя ускорителя или всего лишь каких-то его секций, в самом крайнем случае возник бы пожар. Но не взрыв! Далее, исходные вещества: атомарный гелий, – у меня правильно записано? – свинец и золото. Ничто из них не взрывается. И остаются лишь два места поиска: сам процесс синтеза и уже синтезированный элемент. Вот-вот, вы заметили совершенно правильно: процесс синтеза был испробован неоднократно, и не только теоретически, но и практически не должен был приводить и не приводил ни к каким непредвиденным осложнениям. Значит, остается одно – сам элемент. Повторю: мы исключаем – пока – возможность злого умысла.

Да, мы готовы согласиться с вами, что здесь есть две стороны вопроса: сам элемент и условия его хранения или, как вы это называете, среда. Что же, давайте продолжим наш анализ. Что представляет собой среда? Ах, перестроенное воздействием комбинации полей пространство. Ну хорошо... Могла эта среда нарушиться? Вы полагаете – могла, если бы – что? Если бы разрегулировались или вышли из строя поддерживающие ее устройства или если бы прекратилась подача энергии к ним. Почему маловероятно? Тройная надежность, три параллельных цепи? Звучит убедительно. Могу добавить: цепи энергоснабжения находились под нашим постоянным контролем, – вы этого не знали, вам и не нужно было знать этого, – и до самого последнего момента (у нас есть записи) ничто не указывало на возможность какой-нибудь неисправности, перебоя. Итак, если отрицать наличие умысла... Но не будем пока об этом. Предположим простое совпадение: вышли из строя все три цепи. Теоретически такое ведь возможно, как вы полагаете? Я понимаю, что вероятность мала, но все же... Итак, они вышли из строя, все три; к чему это привело бы? Можно этим объяснить, что произошло?

Вы говорите – исключено. Мы, конечно, смыслим в теории куда меньше вашего, но все же постараемся понять хоть что-то, и пусть наше невежество вас не смущает. Объясняйте смело. Итак, два периода полураспада; допустим. Один – вне среды, другой – в среде. Пока все понятно. Нет, формул не надо, словесно. Итак, если бы среда прекратила свое воздействие, элемент перешел бы из категории долгоживущих в категорию неустойчивых, но все же с периодом полураспада... не так быстро, пожалуйста... двенадцать с половиной часов приблизительно. Так, дальше? При наличии того небольшого, вы говорите, количества элемента, какое было синтезировано, распад его с данной скоростью не привел бы даже к сколько-нибудь заметному увеличению радиации? Все это было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство: взрыв-то все-таки произошел, и это – непреложный факт. Вы по-прежнему утверждаете, что элемент взорваться не мог? Да, о массе вы уже упоминали. Критическая, подкритическая... теория, знаете ли, хороша, когда она объясняет факты, но вот факт налицо, а теория объяснить его не в состоянии. Жаль.

Да, естественно, что вам тоже очень жаль. Удивительно, если бы было иначе. Да потому что, если взорвался не элемент, то могло взорваться лишь нечто, чего быть в лаборатории вообще не должно было. И уж тут никак не обойтись без понятия умысла. Но умысел существует, как вы понимаете, не сам по себе, а лишь в связи с определенным конкретным субъектом – носителем умысла. И этот злоумышленник, мы уверены, находится не среди погибших, а меж уцелевшими. Об этом свидетельствует наша теория и наша практика. Так что лучше давайте-ка сначала попытаемся исчерпать все, что можно сказать и предположить по поводу элемента.

Что значит – мы вас запугиваем, мар Цоцонго? Отнюдь. Просто обстоятельства в данном случае складываются не совсем благоприятно для вас, а наша задача – анализировать именно обстоятельства. Какие именно? Пожалуйста, я назову их. От участия в завершающей стадии эксперимента вы оба каким-то образом уклоняетесь, это раз. Да, вы говорили, но проверить этого никто уже не в силах, к нашему глубочайшему сожалению. Второе: вы не ожидаете даже завершения работы, что казалось бы для вас вполне естественным, но покидаете лабораторию и институт, едва лишь истекает официальное время работы. А ведь, как нам известно, вы неоднократно задерживались в лаборатории и по менее важным поводам, вряд ли вы станете опровергать это. Обида? Знаете ли, мар Форам, обида способна продиктовать и самые, казалось бы, неожиданные поступки, в том числе злонамеренные; я на вашем месте не стал бы ссылаться на обиду. Что ж, если вы настаиваете – пожалуйста... Итак, фактом остается, что вы оба поспешно покинули институт. Нам известна ваша другая причина, мар Форам, нам все известно. Но в связи с этим обстоятельством возникает, в свою очередь, целый ряд вопросов. Ну, например, вы человек, скажем так, средних лет. Партнерша ваша... да, ради Бога, пусть любимая, тем хуже, – итак, ваша возлюбленная значительно моложе. Интерес молодых женщин к мужчинам в возрасте, вы уж не обижайтесь, нередко бывает связан с чисто материальными стимулами. Нет, мы не беремся судить, с чем именно вы приезжали к ней, что дарили и так далее. Мы сейчас не знаем точной суммы ваших расходов, но постараемся узнать, будьте спокойны. Какое отношение имеет? Самое непосредственное, не столь уж вы наивны, чтобы не понимать. Во-первых, эксперимент был связан с затратой немалых количеств золота. Вы знаете эти данные, да и мы тоже. Кто закладывал золото в камеру? Да, но под вашим надзором? Вот; а имели ли вы доступ к камере на протяжении этих восьми часов? Вот видите! Следовательно, при всем уважении к вам мы... Согласитесь сами, взрыв – прекрасный способ скрыть дефицит ценного металла, который сейчас на бирже оценивается... Что значит – не синтезировалось бы? Мы понимаем так, что синтезировалось бы, но меньше запланированного, а когда случилась заминка оттого, что золото кончилось раньше времени, – тут и грохнуло... Минимальная масса, необходимая для начала синтеза, иначе ничего не пошло бы? Но это вы так говорите, это еще проверить надо. А как сейчас проверишь, если все в обломках? В ноль двадцать третьем институте? Что

же, неплохая идея. Мы наведем там справки. Но, кстати, дело вовсе не обязательно должно заключаться именно в золоте. Это лишь одна из рабочих версий, гипотез по-вашему. Есть и другие. Вы не забыли, мары, что на свете существуют Враги? И что для них было бы очень кстати, если бы наш головной институт, занятый решением проблем, во многих отношениях представляющих важнейший государственный интерес, взлетел на воздух – как оно и получилось на деле. За такое удовольствие они были бы готовы заплатить куда больше, чем стоило то несчастное золото... Повторяю, это гипотеза, мы не сомневаемся, мар Форам, что вы не только лояльные граждане, но и патриоты, никто этого не оспаривает, вы зря возмущаетесь... Но тогда позвольте уж и мне быть откровенным: а в вашей любовнице вы тоже уверены? Так-то вы все о ней и знаете? А вы обращались к нам, чтобы мы дали заключение? Поймите правильно, мы не ханжи и не пуритане, человеческие потребности есть человеческие потребности, и ученый тоже человек, никто не подвергает этого сомнению; но, если бы вы обратились к нам, мы с радостью помогли бы вам сделать правильный и во всех отношениях достойный выбор; однако вы так не поступили, так что позвольте уж нам остаться при наших сомнениях – во всяком случае, до тех пор, пока они не будут опровергнуты – безусловно, к нашему общему удовольствию. Мы уже предпринимаем некоторые шаги в поисках именно таких опровержений... А вы, мар Цоцонго, ваших партнеров по картам хорошо знаете? Мы слышали, вам случается там и проигрывать, и не так уж мало. Не возникает ли у вас в этой связи нужды в дополнительных доходах, кроме тех, о которых вы сообщаете налоговому инспектору? Проверим, мар Цоцонго, проверим, проверить – наш долг.

Что у вас еще, мар Цоцонго? Да, разумеется, специалисты уже определили силу взрыва достаточно точно. Как оценивается она в пересчете на стандартное взрывчатое вещество? Кажется, есть. Сейчас, минутку... Да. Взрыв эквивалентен... м-м... Сколько это будет – десять в шестой степени килограммов? Тысяча тонн? Да нет, быть не может. Разрушения, конечно, велики, но... Ах, вот как, вверх? Перекрытия представляли меньшее сопротивление, чем... Так, так... Подтверждения сейсмических станций, так... Да, мы знаем, что институт строился с учетом возможности подобных происшествий. Какой объем занимает тысяча тонн стандартной взрывчатки? Не знаю точно, полагаю, что... Вы спрашиваете, где она могла бы помещаться так, чтобы ее никто не заметил, и каким образом можно было бы доставить ее на место взрыва через всю систему безопасности института? М-да, это было бы и вправду затруднительно. Действительно, трудно предположить, чтобы в стенах института могло находиться такое количество взрывчатки, – пронести-то ее можно было и по килограмму... Но почему именно стандартное вещество? Почему не плутониевый заряд? Ах, нынешний уровень радиации был бы во много раз больше? Да, видимо, так оно и есть.

Ну что же, признаюсь: я очень рад. Рад тому, что версия о взрыве, произведенном при помощи каких-то посторонних средств, отпадает. Видимо, мы не успели предварительно взвесить все «за» и «против» этого варианта, у нас просто не было времени, и я очень благодарен вам, мары, за то, что вы помогли нам прояснить некоторые важные детали. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем сотрудничать так же плодотворно.

Однако из этого с очевидностью следует один вывод, а именно: мы должны снова вернуться к элементу. Почему нам так хочется? Во-первых, потому, что причина взрыва все же должна быть точно установлена – хотя бы для того, чтобы предотвратить подобные явления в дальнейшем. Во-вторых...

Во-вторых – тут мы коснемся некоторых вопросов весьма важного, но и, так сказать, деликатного свойства. Вы, конечно, понимаете, мары, что те два представителя Стратегической службы, которые прибыли для участия в заключительной части эксперимента, – весьма достойные люди, память о них сохранится в наших сердцах, – прибыли далеко не случайно и не из чистой любознательности. Вы знаете, вероятно, что возможность использования нового элемента в качестве... э-э... рабочего вещества в некоторых устройствах, играющих важную



роль в проблемах планетарной обороны... Знаете, да. Так вот, здесь, как вы успели, конечно же, заметить, присутствуют другие, весьма авторитетные представители столь почитаемого нами ведомства. И не случайно: взрыв, о котором мы, разумеется, глубоко скорбим, – страшное же несчастье, погибли прекрасные люди, – взрыв получился, надо сказать, очень убедительным. Если действительно это взрыв элемента; но вы сами помогли нам опровергнуть иное предположение. Раньше тоже считали, что новый элемент сможет получить определенное применение для упомянутых мною нужд. Однако тогда – го-мары подтвердят, – принималось, что понадобятся значительно большие его количества. Сейчас, когда есть основания считать, что столь грандиозные разрушения возникли при срабатывании крайне малого количества элемента – вы говорили, мар Форам, что... да, не более кубического сантиметра, – стратегам, естественно, сразу же захотелось выяснить: а нельзя ли немедленно предпринять шаги в направлении, так сказать, полезного применения этого неожиданно открывшегося свойства. Тогда мы получили бы возможность конкретно думать о новых, гораздо более совершенных средствах защиты, которые для своей доставки в нужные районы не потребовали бы столь громоздких устройств, как современные, и в то же время... В конце концов, у нас у всех – одна забота. Таким образом, что требуется сейчас от всех нас, а от вас, мар Цоцонго и мар Форам, в первую очередь? Думать. Интенсивно и продуктивно думать. И как можно скорее найти те обстоятельства, условия, события – как угодно, – которые привели к столь неожиданному результату. Потому что, только выяснив все до конца, мы сможем повторить подобные взрывы уже сознательно, иными словами – ставить эксперименты, результатов которых будут с восторгом и нетерпением дожидаться очень многие. Вы ученые, вы лучше меня понимаете, как добиться этого; мыслите теоретически, пробуйте практически – делайте все возможное. Мы понимаем, что трудно ставить вам какие-то конкретные сроки, но думаем, что справиться как можно скорее – прежде всего в ваших собственных интересах.

Да, мар Цоцонго, но не только потому, что это будет, безусловно, связано со многими отличиями и продвижениями, а также иными поощрениями. Но еще и потому, что если вам не удастся, невзирая на все усилия, найти обоснованное объяснение происшедшего, как некоего естественного процесса, связанного с особенностями нового элемента, то нам волей-неволей придется продолжать поиск в иных направлениях. Ибо, согласитесь, без причины институты не взрываются. И тогда нам снова придется, к нашему взаимному огорчению, вести разговор на личные и порой весьма щекотливые темы. Так что, учитывая все сказанное... О чем, о чем я не упомянул? Ах, вот что... Да, конечно, нельзя не согласиться, что в таком варианте могли бы возникнуть предположения, что в системе обеспечения безопасности вашей деятельности, деятельности института, оказались какие-то прорехи, слабые места, недоработки, на худой конец просто плохое несение службы теми, кто должен нести ее бдительно. Однако, мары, могу вас заверить: мы убеждены, что в нашей системе подобных недостатков не было и нет, и взрыв никоим образом не связан с ее несовершенством. Никто, повторяю – никто не мог проникнуть со стороны и каким-то способом организовать катастрофу. За весь низший персонал мы ручаемся, он – вне подозрений. Что же касается самих ученых... Но об этом мы сегодня говорили уже достаточно. Так что будет очень хорошо для всех, подчеркиваю – для всех без исключения, если окажется, что виновата тут природа и никто другой. Природа – ну, в сочетании, может быть, с ошибкой или небрежностью, допущенной в роковой момент одним из тех несчастных, с кем мы уже более не сможем побеседовать. Найдите эту ошибку, мары, научитесь повторять ее совершенно сознательно – на расстоянии, конечно, при помощи механизмов, – мы не желаем жертв, – и из свершившегося несчастья мы сможем извлечь, не исключено, немалую пользу для нашей прекрасной планеты в целом и для каждого человека в частности...

Таким был этот странный разговор. После того, как представитель вещей умолк, на столе как-то незаметно появились бутерброды, соки, молоко – все натуральное, какое получают лишь

на верхах. И на самом деле все чувствовали необходимость подкрепиться: нервов было потрачено немало, а расход нервной энергии при сидячем образе жизни ведет, как известно, к ожирению, неправильному обмену и множеству заболеваний сердечно-сосудистой, нередко столь пренебрегаемой всеми нами системы. После импровизированного завтрака стратеги и все прочие составили сами собой один кружок, ученые же объединились в другой, где пошел разговор уже более конкретный.

Конкретным он стал, конечно, не сразу, никто просто не знал, с чего начать, за что зацепиться. Слишком невероятным было случившееся, и единственным, что они, люди знающие, могли по этому поводу сказать, было бы: «Такого не бывает». Но вот же было, однако. И теперь приходилось объяснять, что же случилось, как и почему. Задача, выходящая за рамки научного анализа, как прямо и заявил один из ученых высших величин. Директор бывшего института, тоже змееносец, лишь потряс лысой головой и пробормотал: «Господи, вот уж действительно незадача, о Господи!» – и этим его вклад в анализ проблемы пока что ограничился; совсем растерялся старик. Теоретик четвертой величины уже считал что-то на извлеченном из кармана калькуляторе, потом сказал: «Во всяком случае, это не аннигиляция. Иначе тут осталась бы разве что воронка и немного пыли». Тут все встрепнулись: для научного анализа отрицание не менее важно, чем утверждение, значит, наметился путь: давайте сначала отметем все, чего быть уж никак не могло, а потом посмотрим, как можно интерпретировать то, что останется. И понемногу дело пошло.

Форама с самого начала, как только завершился тот, первый разговор, где ему явно или неявно кое-чем угрожали, ощутил некий прилив уверенности: в конце концов, если вдуматься, речь ведь шла о вопросе, относящемся к области его научной компетенции, случившееся можно было рассматривать и как нормальную проблему. Дело было всего лишь в очередной загадке естества – но не их ли и разгадывал он долгие годы? Цоцонго, как только разговор пошел о деле, тоже приободрился, почувствовал себя, словно на очередной научной конференции. И начал рассуждать вслух:

– Видите ли, как правило, такого рода неожиданности должны все же предупреждать о себе некоторыми странностями в поведении природы, определенными отклонениями от нормы. В естестве все обусловлено, хотя мы и далеко не всегда умеем проследить и обосновать эту обусловленность...

– Какие же странности были на сей раз? Вам удалось что-нибудь заметить?

– Не знаю, можно ли ставить в прямую зависимость... Как раз вчера, пока шел эксперимент, в котором мы с коллегой неожиданно не смогли принять участия... мы таким образом получили свободное время и смогли повнимательнее всмотреться в материалы предшествовавших дней. И вот при анализе снимков я подметил любопытную, кажется мне, закономерность... Я не ставлю этого себе в заслугу, с таким же успехом ее нашел бы и мар Форама, мне просто больше повезло... Я заметил, что скорость распада нового элемента, распада вполне естественного, самопроизвольного, закономерного и безопасного, не оставалась постоянной, но варьировала.

– Каким же образом? – Это директор начал оправляться от шока: знакомая лексика подействовала на него, как успокоительная музыка, как лекарство от нервов.

– Двойко. Во-первых, она, эта скорость, проявила четкую тенденцию к нарастанию...

– Теоретически ничем не обоснованную, – вставил Форама.

– Вот именно. И тем не менее, вчера скорость распада, судя по фотографиям, была больше, чем позавчера. Позавчера – больше, чем днем раньше. Меня это заинтересовало, я взял часть снимков – сколько уместилось в портфеле – домой, и вечером дома попытался сделать какие-то первоначальные выводы. И оказалось, что достаточно долгое время с начала работы по синтезу нового элемента скорость распада оставалась постоянной, и именно в теоретически предвычисленных пределах.

- И никаких аномалий?
- Вероятностные флюктуации были, не более. Но затем, начиная с определенного момента...
- Минуточку, мар. С какого именно момента? Это важно.
- Сегодня – пятый день с тех пор, как началась работа. Скорость распада стала увеличиваться на второй день. Но ведь мы синтезировали его и раньше, хотя в малом количестве.
- Увеличивалась – скачками? Постепенно, равномерно? Подчиняясь какой-то закономерности? Можно ли отыскать функциональную зависимость?..
- Пока не удалось. Не так ли, мар Форам: четкой закономерности там не было, или, во всяком случае, она смазывалась другими явлениями или явлением.
- В общем, – вступил Форам, – тенденция к ускорению была несомненной, но ускорение не выглядело как функция какой-то переменной. Или, вернее, сама переменная возрастала без системы, не подчиняясь какой-либо закономерности. А смазывалось явление тем, что величина распада еще и варьировала в течение суток: становилась максимальной ночью и ослабевала к середине дня, несколько позже полудня. Причины этого пока совершенно неясны – нам, во всяком случае. Видимо, нужно собрать дополнительные материалы.
- В чем вы нуждаетесь, мар Форам?
- Мы должны попытаться восстановить: не началось ли в тот день нечто, какой-то процесс, который так или иначе можно было бы связать с поведением элемента. Мы не имеем представления о характере этого процесса, поэтому надо принимать во внимание буквально все. И то, что происходило в других лабораториях института, и в окрестном районе, и – кто знает – даже у антиподов. Очень важно, что этот гипотетический процесс должен изменяться таким же образом, нарастая и ослабевая от полуночи к полудню.
- Громадный объем работы, – сказал директор. – Но я уверен, нам помогут. Очень много заинтересованных.
- Все невольно покосились туда, где заинтересованные сидели за другим железным верстаком и тоже, видно, составляли свою диспозицию.
- Но уже сейчас, – сказал Форам, – напрашиваются некоторые предположения.
- Мы внимательно слушаем, мар Форам.
- Совершенно не исключено, что некое воздействие, вызывающее повышение скорости распада, связано с ориентацией планеты в пространстве. Если принять такое предположение, то придется учесть и возможность воздействия извне, иными словами, что источник возмущений может находиться вне планеты.
- Интересно. А вы, мар Цоцонго, тоже так считаете?
- Не исключаю. Хотя это и не обязательно. Например, воздействие электромагнитного излучения определенных частот. Известно, что проходимость коротких волн меняется от времени суток и...
- Однако, мар Цоцонго, до сих пор считалось общепризнанным, что никакие воздействия такого рода не могут влиять на скорость распада неустойчивых элементов.
- Тут может идти речь о возмущении среды. Не забудьте, в нашем случае среда – пространство, реорганизованное комбинацией полей.
- Об этом никто не может судить лучше вас.
- Раз уж приходится заниматься тем, что по существу вообще не должно происходить, то почему бы и не допустить такого предположения? Механизм влияния, конечно, нам пока непонятен. Но можно подумать, что нам ясен механизм внепланетного влияния!
- Нет, разумеется. Но тут остается возможность поисков. Какое-то, скажем, жесткое излучение.
- Кто-нибудь его да зарегистрировал бы, – не согласился Цоцонго. – Ибо тут нужно чрезвычайно мощное излучение, способное разбивать ядра. Это раз. А во-вторых, оно должно

нарастать, иными словами, мы должны сближаться с его источником. Видимо, нужно запросить обсерватории.

Пододошедший к их столу вещий уже минуту-другую прислушивался к обмену мнениями. Сейчас он, кажется, счел, что наступил подходящий момент, чтобы повернуть ученое собеседование в надлежащем направлении.

– Прекрасно, – сказал он. – А вы не подумали, мары, что вражеская планета – тоже внешний фактор? И что поток излучений, о которых вы говорите, мог исходить именно оттуда? Мы срочно запросим обсерватории: в какое время суток их планета стоит в нашем небе выше всего и каково сейчас взаимное движение планет. Но если моя, пусть и не совсем научная гипотеза подтвердится, то неизбежно возникнет вопрос: каким же образом наши враги с такой точностью узнали, какая именно работа ведется в вашем именно институте? Мы будем крайне серьезно интересоваться этим. И виновных, самое малое, в разглашении тайны, неизбежно найдем.

– И все же я предпочитаю думать, – упрямо проговорил мар Форамы, – что мы столкнулись с каким-то явлением природы, которое пока не можем объяснить.

– Мар Форамы, – помолчав, сказал змееносец, директор института. – До сих пор, по крайней мере, наука исходила из стремления объяснить мир на основании уже известных нам и многократно подтверждавшихся на опыте явлений. Лишь при полном отсутствии другого выхода мы решаемся предполагать наличие новых, неизвестных нам процессов. В данном случае, как мне кажется, нет ни малейшей надобности измышлять какие-то дополнительные силы природы, потому что все, видимо, может быть истолковано на базе известных нам законов, а также тех обстоятельств, о которых нам крайне своевременно напомнил го-мар. – Старик, привстав, поклонился вещему. – Думаю, что именно в этом направлении мы и ориентируем наши объединенные усилия.

– Но ведь, в конце концов, мир развивается! Материя движется! И...

– Мар Форамы! Мир развивается по своим неизменным законам, и допущение иной возможности ставит допустившего вне пределов науки. Ставит на уровень донаучных представлений. И я бы не хотел верить, что вы всерьез предполагаете...

Форамы промолчал.

– Прекрасно, – снова бодро проговорил вещий. – Итак, будем и дальше исходить из установленных законов физики – и психологии, и политики, и всего множества обстоятельств, которые постоянно влияют на нашу жизнь в самых разнообразных своих комбинациях. Да, мары, поведение не только ваших элементов, но и любого человека, его поступки, даже самые низкие, постыдные и отвратительные, тоже обусловлены законами, и законы эти нам известны не хуже, чем вам – какой-нибудь закон тяготения. Это законы не природы, но общества; но общество обладает и иными законами, строгими и действующими неукоснительно, и направленными на полное искоренение таких поступков, о которых я только что упомянул. Сейчас мы продолжим работу; кроме астрономов, запросим и стратегических наблюдателей, и нашу славную внешнюю разведку... Однако поскольку опыт учит нас не пренебрегать даже самыми иллюзорными возможностями, я думаю, будет лучше, если вы, мар Форамы и мар Цоцонго, продолжите поиски в том направлении, какое, видимо, вам ближе – неизвестных явлений. Однако, если помимо этого у вас возникнут какие-то предположения относительно каналов утечки информации, мы будем вам только благодарны.

– Хорошо, – сказал Форамы, вставая. – Тогда я поеду.

– Вряд ли вам следует сейчас покидать нас, – сказал вещий. – Дома у вас сейчас некоторый, я бы сказал, беспорядок: мы были несколько растеряны в первый момент, не застав вас там. А у прекрасной Мин Алики в данную минуту находятся наши люди: нам все же необходимо до конца выяснить то, чего сами вы, к сожалению, нам сказать не можете: что она в конце концов за человек. Потому что тут у нас возникли некоторые неясности... Нет, мар Форамы, и

вы, мар Цоцонго, – мы создадим вам все условия для напряженной работы и полного отдыха, условия не хуже тех, какие были здесь, в институте. И будем ждать результатов. Связаться с нами при нужде вы сможете мгновенно. А сейчас наши люди вас проводят...

Снова те шестеро материализовались из ничего, из каких-то завихрений воздуха – и окружили, оставляя свободным лишь направление к выходу. Форама усмехнулся углом рта, расправил плечи, независимо заложил руки за спину, повернулся и зашагал. Цоцонго Буй пошел за ним, оставшиеся у стола молчали и смотрели им вслед.

## Глава четвертая

Что верно, то верно: отдохнуть им здесь никто не помешает. Если даже и захочет, не помешает: просто не доберется до них, не преодолеет это множество постов, решеток, автоматических и охраняемых, под напряжением и без; заблудится в лабиринте подземных двориков, где ни единого человека, но полно собак, здоровенных, с теленка, с холодно-презрительным взглядом, готовых без предупреждения, не подав голоса, развернуться пружиной, броситься, повалить, запустить зубы в теплое и пульсирующее... Двоих провели по всем этим переходам и дворикам, предупредив, что разговаривать здесь не разрешено, собаки не любят человеческой речи; миновали еще одни ворота, которые запер за ними дылда с серебряными ключиками на высоком стояче-отложном воротничке, с цветом лица неестественно бледным (такой бывает трава, растущая в подвалах, куда не проникает естественный луч). Заперев ворота, дылда пересчитал приведенных справа налево: «Один, два», потом слева направо – тоже «один, два». Счет сошелся, он удовлетворенно кивнул, подобие улыбки ужом скользнуло по белесым губам. «Яйцеголовые, падлы, – сказал он в пространство, не глядя ни на кого в особенности, – допрыгались, зажрались, баб налапались, книг начитались, стали планету продавать, теперь побрызгаете красной юшкой, ублюдки грязные, выродки чертовы, чтобы тихо было, еще наслушаетесь, как другие орут, пока не придет ваш черед. Туда вам и дорога!» Холодные мурашки засуетились на спине, Форам невольно передернул плечами. «Вместе, что ли? – спросил ключник. – Это что за мода такая пошла? – И снова повернулся к двоим. – Зря не вызывать, за это врыло, и следа не останется, – предупредил он, все так же глядя поверх них. – Завтрак без вас сожрали, обед через четыре часа». Тот из шести, с тремя сердечками, что провел их по лабиринту, перебирая пальцами незримую нить, молча ухмылялся, наслаждаясь. «Падлы», – снова проговорил ключник, тогда сопровождавший впервые подал голос. «Не брызгай, Блин, это не твои постояльцы. Ну-ка, проводи нас к лифту – нам наверх». Ключник засопел обиженно, стараясь понять. «Это что же, – проговорил он затем, – спектакли тут разыгрывать мода пошла?» – «Забыли тебя спросить, – откликнулся проводник, – приказано – выполняй». Форам облегченно вздохнул, когда они очутились в обычной кабинке лифта и поехали наверх. Сюда наверняка можно было попасть и более кратким и нормальным путем, но их специально провели через подвалы – чтобы до конца прониклись пониманием серьезности событий.

В конце концов они очутились в помещении, напоминавшем хороший гостиничный номер: две спальни, гостиная; в гостиной, однако, стоял средней мощности вычислитель, информатор; телефон тоже был. Форам первым делом схватил трубку, но вместо автомата ответил человек: «Слушаю?» Форам после мгновенной паузы попросил: «Соедините с городом». – «Связь только с начальствующим составом, – ответил телефонист, – с кем соединить?» – «Не надо», – ответил Форам и положил трубку.

После этого они оба долго молчали, понемногу приходя в себя, нормальным образом выстраивая мысли: помогала привычная дисциплина рассуждений. Только сейчас они вдруг по-настоящему поняли, что произошло, до этого им все как-то некогда было сообразить: ведь что бы ни происходило с ними сейчас и что бы о них ни думали, в чем бы ни подозревали, но главным было то, что вся работа, по сути, пропала зря, в самом, казалось, счастливом конце упершись в непредвиденную, новую, мощную загадку. И – люди погибли, что еще хуже, хорошие или не очень, но погибли безвозвратно. Но и этим беды не исчерпывались: планете ведь и на самом деле грозила опасность, они чувствовали ее интуитивно, да и не одни они чувствовали – однако корни опасности каждый пытался искать в привычном для себя направлении: они – в своем, вещице – в своем. Что же на самом деле произошло, что могло произойти? Не только престиж требовал докопаться, но и совесть: не кто иной, как они, заварили всю кашу с новым элементом, и совесть требовала, чтобы они и расхлебывали ее в первую очередь.

Самое время было всерьез задуматься над этим. Но мысли далеко не всегда идут по наметенной для них тропке; и Форам вдруг почувствовал, что как бы ни разлетелась вдребезги работа (а в ней еще недавно, сутки назад еще, видел он весь смысл жизни) и какие бы люди ни погибли, не это сейчас было для него главным. Иной образ возник перед ним, реально, ошутимо, словно Мин Алика вошла сейчас и остановилась посреди комнаты, печально глядя на него; не такая, какой она была в ту, последнюю ночь – раскрывшаяся вдруг женщина со всей ее великой женственностью и даром любви, какого она, может быть, и сама в себе не подозревала до самого последнего момента; не такой предстала она, но прежней – стесненной внутренне и от этого сдержанно-покорной, готовой услужить, но лишь потому, что традиция так велела, а не из потребности любви; аккуратно снимающей с себя и складывающей все, что было на ней надето, и поглядывающей при этом снизу вверх с выражением: я все правильно делаю, ничего такого, что было бы тебе неприятно? (Но ему было бы неприятно другое: если бы все делалось с показной чужой лихостью, за которой часто кроется если не страх, то нежелание и подсознательная мысль: это не я вовсе и делаю и буду делать, но какая-то другая, та, что на время подменяет меня, а настоящая я стою в стороне, чистая...) И потом торопливо повиновавшуюся ему, угадывая все заранее, а вернее, просто выучив наизусть: фантазия у него не работала, и даже мысли не возникало: как сделать, чтобы было лучше – ей; повиновавшуюся, как человек в парикмахерском кресле спешит подчиниться каждому движению мастера, поднимая голову или опуская, поворачивая вправо или влево. Да, а о ней он думал в те минуты не больше – об ее удобствах, желаниях, надобностях, – чем обедающий о жареном цыпленке: не все ли ему равно, как начнут его грызть?.. И вот такой явилась она перед ним, проникнув в удобное, но все же запертое и вряд ли легкое для доступа посторонних помещение, проникнув вопреки уверенности подвальной травы с ключами на воротнике – в легкой белой блузочке, в домашней юбке, которая была когда-то служебной, а потом понизилась в ранге (никогда Мин Алика не старалась подать себя, произвести впечатление; что было в ней от природы, то и было, и ни на грамм искусства), стояла как бы радостно удивленная, но и в то же время и испуганная немного; неуверенная, как пришедший экзаменоваться студент, точно знающий, что он и половины не прочитал, но уповающий на то, что другие этого не заметят; Мика стояла, опустив руки, но не вдоль бедер, а слегка перед собой, словно готовая в следующий миг поднять их в защитном движении, бледная, испуганная, потерявшаяся маленькая женщина... Вдруг Форам стукнуло в голову, что и на отношения с ним она пошла не потому, что он показался ей чем-то лучше других; а пошла она на это потому, что он, наверное, просто оказался тем, кто этого всерьез захотел, когда она была одна, одиночество же, как он только сейчас понял, было не ее формой бытия. Форам застонал даже, вспомнив, а вернее – только сейчас поняв, как бездарен был по отношению к ней, как удовлетворялся самим фактом их близости – физической, не более, тем, что лежало на поверхности, – и ему даже в голову не приходило заглянуть и проникнуть поглубже, увидеть то, что жило в ней в полусне и ждало; планета ждала своего открывателя, да что открывателя, да что планета – целая вселенная ждала, еще ни в какие каталоги не внесенная вселенная... Вот почему так рванулась она ему навстречу, навстречу глазам, впервые увидевшим ее, сердцу, впервые зазвучавшему не как мотор, а как оркестр, рукам, охватившим ее не как материал («Как рабочее тело», – подумал он, грубо насмехаясь над самим собой), но как что-то такое, что поднимают, чтобы поклоняться... Рванулась – потому что и сама возникла в тот миг из любовного небытия, словно любовь была до сих пор дешевой литографией на стене или базарным ковриком; но они шагнули – и поняли вдруг, что это не плоская картинка, что коврик – лишь занавес, а за ним – мир, в который вдруг открылся вход... Какие-то детали, все новые, всплывали в памяти только сейчас, подобно ныряльщику, поднимающемуся на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха, всю надобность которого только и понимаешь под водой; как он стоял в комнатке, где повернуться было негде, держа Мику на руках, словно младенца, и не было ни тяжело, ни неудобно, как если бы они только для того и были

созданы, чтобы он носил ее, а она, обхватив тонкими руками его шею, руками, которые все время до того казались ему некрасивыми, слишком уж детскими или как от недоедания, – и прижавшись щекой, дышала куда-то под левое ухо, и было в этом спокойном и ровном дыхании столько великого смысла, что рассказать его не хватило бы всех слов в языке... А потом – или, наоборот, раньше – она лежала, а он стоял на коленях перед ней, стиснув руки, как для молитвы, и говорил что-то, но слова не удержались в памяти. А еще было: он лежал один, и створки двери вдруг распахнулись, укатились в стороны, и в его каюту вошла она...

«Да нет же, – сказал Форам сам себе. – Какая каюта, какие створки?.. Ладно, ладно, – сказал он сам себе. – Мастер, черти бы его взяли, сделал по-своему, заставил меня. Нет, не меня, Фораму. А я кто? А я и есть... Но насколько труднее было бы мне оказаться в этой каше, если бы не возникла она, даже сейчас, на расстоянии, держащая меня прямо, не позволяющая согнуться, да, прав был Мастер – с этим я вдвое, втрое сильнее. Только почему это Мин Алика, ну ничем не схожая с Астролидой, зачем же меня так разменивать?.. Какая Астролида, – подумал Форам, – я в жизни не слышал такого имени, я не знал такой женщины, да и о каком мастере идет речь? Нет, Алика и только она стоит сейчас передо мной, вдвойне беззащитная оттого, что судьба только что сделала ее безмерно богатой – чтобы тут же другой рукой отобрать все дарованное и тем сделать ее много беднее, чем раньше». А он, Форам, носитель счастья и несчастья, сидел сейчас во вполне удобном помещении, где действительно можно было, наверное, и работать, и отдыхать, но откуда нельзя было не только выйти, но даже позвонить ей и сказать хоть два слова, приободрить, передать, что – любит, что – верит, что – обязательно они будут вдвоем, пусть даже не только институт – пусть даже вся чертова планета летит вдребезги...

Он подумал так и испуганно удивился: разве мог он помыслить такое о планете, о своей родной планете, на которой и для которой он жил, работал, искал и находил, синтезировал новые элементы; которой желал не меньше добра, чем самому себе? Ведь не было у него таких мыслей! Неоткуда было им взяться! Он прокричал это мысленно, и вовсе не потому, что как раз там, где он сейчас находился, было для подобных мыслей самое неподходящее место; пусть и не вслух они высказаны, а все же – кто знает?.. Нет, он и на самом деле всю жизнь понимал: если не родная планета, то кто же? Враги? Но Врагов он ненавидел с детства, с ними было связано все черное, мрачное, жестокое, ужасное, нечеловеческое – естественно, они ведь и людьми не были в полном смысле слова, это все знали; в лицо их, правда, никто не видал – кроме дипломатов, конечно, договоры заключать ведь кому-то приходилось, дипломатов и других, кому по роду деятельности это было положено, – но по карикатурам каждый знал, что они не люди, а чудовища, даже глядеть на них было страшно. Нет, ничего нет прекрасней родной планеты, и что бы на ней ни происходило – все было правильно. Совсем раем была бы она, если бы не кружили над ней вражеские бомбоносцы, выбегая из-за горизонта и поспешно, словно стыдясь укоризненных взглядов, пересекая небосвод, каждые пять минут – новая шеренга. Так откуда же могла взяться эта, недопустимая даже в качестве обмолвки, грязная, отвратительная мысль о том, что пусть хоть вся планета взлетит на воздух – только бы с Микой ничего не приключилось? Непростительно; хотя, конечно, такое представление о Мике беззащитной, растерянной, одинокой могло сложить в его уме слова в столь нелепую комбинацию. Только страх за Мин Алику, конечно...

– Держись, – сказал он ей, и настолько реальной виделась ему Мика, что слово он произнес громко и четко, не промямлил, как бывает, когда человек говорит заведомо сам с собой. Цоцонго услышал и, поскольку их тут было лишь двое, воспринял как обращение к нему.

– А чего ж не держаться? – сказал он спокойно. – Продержимся, пока земля держит. Ну, что же: я считаю, что уже освоился. Может быть, пока все тихо-спокойно, поразмыслим над случившимся? В конце концов, для того нас сюда и доставили...



– Цоцонго, скажи: что за глупость? Почему я не могу отсюда позвонить по личному делу? Я добропорядочный гражданин...

Несколько секунд мар Цоцонго Буй смотрел на коллегу иронически-задумчиво, словно размышляя, как ответить популярно. Затем сказал:

– Видишь ли, мне кажется, сейчас не только та информация, которой мы с тобой обладаем, но и само наше существование – секрет государственной важности. Никто ведь не знает, кому и зачем ты собираешься звонить. Может быть, как раз тем, кому вовсе не следует знать, что ты остался в живых после беды в институте. Ты дома ночевал?

– Знаешь ведь, что нет.

– Ну вот. Все, кто тебя знал, полагают, естественно, что ты участвовал в эксперименте. И узнав, что институт взорвался, причислят тебя, естественно, к погибшим.

– Кому это нужно?

– Сложный вопрос, – ответил Цоцонго, потягиваясь. – И решение его, надо полагать, зависит от того, как все они станут выпутываться из этой истории.

– Они?

– Начальство. Много всякого начальства. Катастрофу в институте надо прежде всего объяснить. И решить, кто за нее ответит.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.